



Илья
Шухов

ВРЕМЯ
ОТКРЫТИЙ



Форма № 10

**КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА**

Книга должна быть возвращена не
позднее указанного здесь срока

Количество предыдущих выдач

83

88

90
91. 2016

83.3423
III 98



Илья
Шухов

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ,
ИССЛЕДОВАНИЯ, ЗАМЕТКИ

АБОНЕМЕНТ



Издательство, «ЖАЗУШЫ»
Алма-Ата — 1980

— 5487 —

Шухов Илья.

Ш98 **Время открытий: Литературно-критические статьи, исследования, заметки.— Алма-Ата: Жазушы, 1980.—288 с.**

«Время открытий» — первый сборник литературно-критических статей автора. В нем на материале казахстанской прозы и поэзии рассматриваются различные стороны современного творческого процесса — вопросы взаимовлияния и взаимообогащения братских советских литератур, проблемы художественного перевода произведений казахских авторов на русский язык и другие. Особое внимание уделено книгам прогрессивных литераторов стран Азии, Африки, Латинской Америки.

Завершает книгу литературный портрет Ивана Петровича Шухова, в котором воспоминания сына об отце органически сплавлены с глубоким исследованием творчества большого советского писателя.

Рецензенты: Е. В. Лизунова, доктор филологических наук, член-корреспондент АН Казахской ССР, Н. Ровенский, член СП СССР.

83. 3Каз

70202—163
Ш 202(05)80 72—80 4603000000

© «Жазушы», 1980.

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ

Разноцветные флаги десятков государств, колышущиеся на свежем ветерке предгорий, по-особому приметные на фоне желтеющей листвы, транспаранты над улицами, на фронтоне Дома писателей, многоязыкая речь — такой запомнилась Алма-Ата осени 1973 года. Столица Казахстана радушно принимала тогда участников и гостей V конференции писателей стран Азии и Африки.

Памятная золотая осень была временем дружеских встреч и знакомств, откровенных и полезных бесед, счастливых писательских открытий. Этому событию, вошедшему в историю движения литераторов двух континентов, посвящены сборники, документальные ленты. Добрыми знаками, конечно, стали книги афро-азиатских литераторов, многие из которых пришли к читателям нашей страны впервые. Недаром в статье «Драгоценные зерна», опубликованной накануне форума журналом «Простор», писатель, Герой Социалистического Труда Габит Мусрепов отмечал: «Чтобы жить в сегодняшнем мире, надо лучше знать друг друга. Истина эта — старая, но она не перестает быть верной оттого, что старая... И нельзя прекращать работу, способствующую такому взаимному узнаванию. Вот почему следует с большой похвалой отзываться о том оживлении издательской деятельности, которое предшествовало V Алма-Атинской конференции».

Книги писателей двух континентов на русском и других языках народов СССР выходят большими тиражами в центральных и республиканских издательствах. Немалый вклад в это благородное дело вносит и издательство «Жазушы». Об отдельных вышедших у нас произведениях литераторов стран Азии и Африки, а также некоторых книгах советских писателей и пойдет речь в настоящем обзоре. Примечательны, полны глубокого смысла сами названия этих книг. «Время открытий» — так, например, озаглавлен сборник стихов индийских поэтов,¹ с которого и хотелось бы начать.

Уже сорок веков существует и имеет свои устоявшиеся традиции индийская поэзия. Классическая поэзия в Индии неотделима от архитектуры, архитектура — от танца, танец — от философии, философия — от музыки, музыка — от поэзии: все это — формы выражения единой сути бытия. Поэт должен был отказаться в своем творчестве от всего личного, приземленного. Согласно традиции, личность просто не существовала, так как человеческая душа была частицей души мировой, только временно отторгнутой от нее.

Такой взгляд на вещи оставался неизменным до середины девятнадцатого века. Под влиянием европейской мысли и литературы возникли новые веяния и в индийской поэзии. Постепенно синкретизм индийского искусства все больше уходил в прошлое: объектом внимания писателей становились не космические категории, не философские абстракции или общечеловеческие качества, а простые люди, однако имеющие свои характерные, неповторимые черты.

¹ Время открытий. Переводы с хинди. Под редакцией О. Сулейменова. «Жазушы». Алма-Ата, 1973.

«Время открытий» знакомит нас с творчеством представителей так называемой «новой поэзии» — Шриканта Вармы, Кайлаша Ваджпейи, Рагхувира Сахая, Сарвешвара Даяла Саксены, Кедарнатха Сингха и других.

«Новая поэзия» (это название взято от журнала, в котором печаталась, главным образом, литературная молодежь) возникла, конечно, не на голом месте. Своими духовными наставниками молодые поэты считают Агъейю (литературный псевдоним С. Х. Ватсайяна) и Муктибодха. Их стихами, отразившими в себе характерные черты экспериментализма и прогрессивизма — двух течений в поэзии хинди, которые предшествовали новой поэзии, — и открывается сборник (составители М. Салганик и А. Сенкевич).

Агъейя (в переводе на русский язык — Незнающий) родился в 1911 году. Ему принадлежат сборники стихов «Сраженный вестник», «Мысль», «Довольно», «Безумный охотник», романы «Шекхар» и «Острова на реке». В 1943 году Агъейя провозгласил начало нового литературного направления «прайогвад» — экспериментализм.

Демократизация поэзии, сближение поэтического языка с разговорным, современная тематика и система образов, новые ритмы — к этому шли как эксперименталисты, так и прогрессивисты.

Правда, пишет в предисловии к сборнику видный специалист в области индийской литературы М. Салганик, с течением времени абстрактность идеала завтрашнего счастья и небрежение формой во имя содержания привели многих прогрессивистов к риторичности и лозунговости, а экспериментализм выродился в исследование внутреннего мира поэта на таком предельном уровне, когда поэзия утрачивает свою коммуникативную функцию.

Новая поэзия синтезировала в себе — в рациональной их основе — оба эти направления, унаследовав от экспериментализма трепетную пристальность к тончайшим оттенкам человеческих чувств, а от прогрессивной поэзии — политическую заостренность, широту и размах.

Весьма скромные подборки стихов Агъейи и Муктибодха дают, к сожалению, лишь самое общее представление об этих двух поэтах старшего поколения, без знания творчества которых, как подчеркивается в аннотации к книге, трудно понять современную поэзию хинди. И когда мы читаем в предисловии М. Салганик, что «Агъейя повлиял на молодых поэтов формой и ритмикой своего стиха» и что «сегодня гораздо ближе Муктибодх с его умением найти неожиданное и точное слово, с его взрывными и трагическими строками, которые невозможно отделить от его судьбы», нам поневоле приходится больше полагаться на авторитет уважаемого литературоведа, нежели на свои собственные впечатления. И дело здесь, по-видимому, не только в малом количестве строк того и другого поэта, но и в не всегда высоком уровне перевода. (Последнее, заметим, касается и ряда других стихов, напечатанных в сборнике,— об этом речь впереди).

Из стихотворений Агъейи тематически выделяются «Острова на реке» — своего рода поэтический манифест, символ веры, выраженный в строках:

Да, мы порожденье течения,
Но мы — острова навсегда.
В текучей стихии воды
Назначена нам неподвижность.

Экспериментальная поэзия требовала раскры-

тия личности поэта, влитого в поток жизни, но не растворенного в нем.

Хочется назвать несколько неожиданное среди лирико-философских миниатюр Агъейи стихотворение «Хиросима» — как бы моментальный снимок атомного взрыва, когда «люди, как белый пар, отделились от черных теней».

Чувством причастности к судьбам людей, «странной в сердце тревогой» за них пронизано и стихотворение Муктибодха «На каждом шагу». Оно начинается признанием автора:

Мне на каждом шагу
встречаются перекрестки,
распростершие руки.
Стоит мне ступить —
расстилается сотня дорог,
и по каждой хочу я пройти.

Жизнь во всей ее сложности, противоречивости и многообразии — неисчерпаемый источник сюжетов — вот вывод, который делает для себя Муктибодх.

Здесь мы непосредственно подходим к стихам «главных хозяев» сборника — современных поэтов, пишущих на хинди. У каждого из них, естественно, свой диапазон тем, различный запас жизненных наблюдений, своеобразная манера самовыражения. Однако, при всем том в стихах молодых довольно четко обозначаются некие общие закономерности, присущие новой индийской поэзии. Прежде всего, поэзия эта беспощадно реалистична (в том смысле, что в ней нет запретных тем и «непоэтических» слов); она резко самокритична и иронична в отношении к самой себе.

Молодые напряженно всматриваются в сегодняшний мир, стремясь осмыслить окружающую действительность, осознать свое место в ней. А по-

нять Индию — огромную страну поразительных контрастов, где с двадцатым веком порою соседствует десятый,— поистине непросто. Отсюда еще одна особенность «новой поэзии» — она полна вопросов, которые чаще всего остаются без ответа. Характерны в этом смысле строки из стихотворения Кедарнатха Сингха «Куда бы ни вела меня дорога...»:

Не все ли там равно,
о чем мы спорим,
зачем слова изводим понапрасну?..
...Живем, топчась в кругу непониманья.
Отделены артерии от тела.
Но кто же, кто повинен в том, скажите?!

Через всю новую поэзию проходит тема отчужденности от того самого народа, для которого пишет поэт, отсутствия обратной связи с неграмотными миллионами, бессилия и отвращения к этому бессилию. Показательны приведенные М. Салганик слова Рагхувира Сахая: «Мы отличаемся от предыдущих поэтических поколений тем, что стремимся ввести в поэзию звучание современности, речь вот этих волнующихся, кишащих на улицах масс. Стремимся, но не можем не понимать, что биение человеческого сердца, которое, как нам кажется, мы уловили в наших стихах, может оказаться имитацией несуществующего ритма,— не зная толком, чем бьется сердце простого человека, мы не можем быть уверены и в себе». Об этом же и небольшое стихотворение Р. Сахая, открывающее его подборку:

Не знают о боли моей миллионы
живущих на свете,
даже если ее в миллионы стихов обращаю
и стихи прокричу всеми шрифтами
в каждой газете,—

ни один не услышит, и боли я не облегчу.
Живут миллионы по-разному: лживо и честно,
не зная, что боль их вмещает моя,
та, что им неизвестна.

Стихи новых поэтов привлекают конкретной социальной направленностью, поисками сопряжения национального и инонационального, локального и планетарного. Наиболее ярко это проявляется в творчестве Кайлаша Ваджпейи. В книгу включены всего четыре его стихотворения, переведенные Ник. Зиновьевым и М. Салганик, и каждое из них — крик души автора, который испытывает стыд за «бесплодных людей, собирающих деньги на ниве идей», за то, что «жажда над всеми правит, жажда желтая лжи и золота».

Продолжая традиции одного из своих литературных и духовных учителей — Агъейи, Кайлаш Ваджпейи, выражаясь по-современному, расширяет географию своего творчества, обращая взор к городу, находящемуся за тысячи миль от его страны. Так, его стихотворение «Кладбище в Ленинграде» перекликается с упомянутой выше «Хиросимой». Ленинградские стихи заканчиваются человечнейшими строками:

Тоскую
тоскую тех,
кто, пройдя тягчайшие испытания,
живой
стоит сегодня
над безымянными могилами.

Тонким лиризмом, любовью к жизни в ее многообразных проявлениях, к сказочной природе Индии отличаются стихи Сарвешвара Даяла Саксены. Сами их названия — «Дождь ночью», «Зимнее солнце», «В этом лесу», «В небе тучи не видя огромной», «Шальные ветры» — говорят о пристальном

внимании автора к окружающим его явлениям. Но это не просто поэтические зарисовки; скорее, это психологические миниатюры, в которых автор идет в глубь явлений, искусно раскрывая мимолетные состояния человеческой души.

Творчество Саксены подверглось влиянию экспериментализма, что особенно ощутимо в стихотворении «В этом незнакомом городе», как бы развивающем тему «Островов на реке» основоположника «прайогвада».

В какой мере удалось переводчикам донести до русского читателя дыхание чужой да к тому же столь сложной и своеобразной поэтической стихии? Прежде чем сказать об этом, следует напомнить о некоторых художественных принципах новой поэзии хинди. Ее арсенал изобразительных средств скуп, тематика и язык подчеркнута прозаичны, она избегает развернутых метафор традиционной поэзии, ломает остатки канонических размеров, ища предельной смкости неожиданно «повернутого» слова, новых — резких и четких — ритмов. Молодые поэты страшатся любого проявления сентиментальности или того, что может быть принято за нее. Им не надо изучать жизнь — они живут жизнью миллионов, их стихи — коллаж из телетайпных сообщений и собственной жизни.

В основном эти принципы переводчики выдерживают, хотя, к сожалению, некоторым из них (в стремлении сохранить близость к оригиналу, а вернее — к подстрочнику) чувство меры кое-где явно изменяет.

Сборник «Время открытий» знакомит нас с интересными индийскими поэтами, открывая новые, не известные ранее поэтические имена.

Творчество замечательной индийской поэтессы, автора более шестидесяти книг Амриты Притам

предстает перед нами со страниц вышедшего в Алматы-Ате сборника стихов «Тайны сердец» («Жазушы», 1977).

Книга издана любовно, со вкусом. Составил ее, написал предисловие и примечания лауреат премии имени Джавахарлала Неру И. Д. Серебряков.

...Стихи этой хрупкой, изящной женщины с грустными, выразительными глазами знают во многих странах мира. В 1971 году на русском языке в СССР издан ее поэтический сборник «Черная роза».

Как бы ни относились критики в Индии к творчеству поэтессы из Панджаба, к какому направлению ни пытались бы причислить, все вынуждены считаться с ее бесспорной общиндийской популярностью и с тем, что сегодня на небосводе индийской поэзии нет ярче звезды.

Более сорока лет звучит вдохновенный голос поэтессы, и все эти годы чутко откликается она на трудные заботы, беды и радости нашего сложного века. Активная жизненная позиция, стремление внести свой посильный вклад в дело сближения народов, сам дух ее поэзии привели Амриту Притам в 1973 году на Всемирный конгресс в защиту мира. То был ее четвертый приезд в Советский Союз. Повидала она республики Средней Азии и Закавказья, нашла многих верных друзей среди советских поэтов. Контакты оказались весьма плодотворными: журнал «Нагмани», который выпускает Амрита Притам, регулярно публикует переводы произведений поэзии народов СССР, других социалистических стран.

Стихи сборника «Тайны сердец», выпуск которого явился развитием доброй интернационалистской традиции книгоиздателей Советского Казахстана, перевел на русский язык С. Северцев.

Наиболее глубоко замыслы поэтессы раскрыты

в поэме, давшей заглавие сборнику. «Это — удивительное произведение, лирический эпос, как бы ни казалось несовместимым применение таких, как будто бы противостоящих друг другу определений, как лирика и эпос,— отмечает составитель книги.— Но и нет для современности ничего более естественно-го, чем осознание личностью ответственности за судьбы человечества, устремление лирических начал к эпическим формам».

Мастерство поэтессы проявилось и в том, что ей удалось искусно сочетать возвышенную обобщенность образов с их реальным, земным воплощением, что придает поэтическим раздумьям необычайную убедительность и широту. В поэме два действующих лица: Мать, олицетворяющая историю Панджаба, и Дочь — воплощение Юности. Они беседуют друг с другом, и их тема — долгая жизнь родного края, всей Индии, со всеми ее тяжкими потрясениями.

Идеал Матери — оптимистичен и светел:

Земля — просторный, солнечный двор,
Народы — одна большая семья.

Однако история такова, что не позволяет Матери ограничиться восторженным гимном. Слишком круты и драматичны были повороты в судьбе народа Индии.

Но как же сумела поэтесса уместить пять тысяч лет истории всего лишь в семьсот стихотворных строк? Это удалось сделать прежде всего благодаря поразительной насыщенности художественных образов и искусному использованию форм народной панджабской поэзии. Особенно любит А. Притам необычайно гибкий и поныне продолжающий жить в поэзии ее родины фольклорный жанр «барахма» («двенадцать месяцев»).

Вместе с тем, в поэму введены образы прославленных мастеров панджабской литературы, которые отразили в своем творчестве характерные черты своего времени: Шейх Фарид, Гурдас, Нанак, Шах Хуссейн, Хашим, Шах Мухаммад... Живая вода народной поэзии и кровь сердца панджабской классики — вот два начала, пронизывающие все творения Амриты Притам. И, как бы воскрешая их голоса, поэтесса напоминает о горестных трагедиях, пережитых ее родным краем.

Строфы поэмы касаются и событий 1947 года, когда народы Индии завоевали долгожданную независимость, но британский империализм вынудил расчленить страну по религиозному признаку. Это вызвало религиозно-общинные погромы, унесшие сотни тысяч жизней. И трагично звучат строки «бархатных»:

Все злей, беспощаднее ночи мщенья,
Кинжалы целуют жертвы свои...

Лампада спешит зажмурить глаза,
К людям спиной повернулся свет...

И звезды посыпались с черного неба,
И мрак на земные дороги лег...

Но жизнь преодолевает трагедию и утверждает новое, человеческое, гуманное — мрачная ночь колониализма сменится новым временем, когда придут и все решительнее утвердятся в жизни страны демократические начала. И финал поэмы оптимистичен:

Дя будет чист наш Народный Век,
Как солнце, стремимся в зенит,
И солнце бы погасило тьму на бились,
И твердо верю: Свет — победит!

Поэзия Амриты Притам, при всей ее эмоцио-

нальности и глубоко лиричном настрое, несомненно, несет в себе и политический заряд, бесстрашно борясь за гуманизм и демократию», — отмечает в предисловии И. Серебряков. И характерно, что сборник «Тайны сердец» открывает стихотворение «Перед портретом Ленина», написанное в дни, когда все прогрессивное человечество отмечало 100-летие со дня рождения вождя мирового пролетариата. С глубокой искренностью сказала о нем поэтесса:

...держа в руках
Идеи новые
и новую свободу,
Ты оживаешь,
ты с портрета сходишь —
Как солнце новое,
идешь навстречу мне!
И солнца этого
сиянье и величье —
Твое величие —
сегодня таково,
Что даже в сумерках
моей смятенной жизни
Сверканье слов твоих
Сумела я постичь.
И все,
что столь неслыханным явилось
Для всей Истории,
А для тебя
Понятным и бесспорным было,
теперь становится понятным
и бесспорным
И для меня!

Почетное место в сборнике занимают стихи о мире; к этой теме Амрита Притам пришла через весь свой человеческий и творческий опыт. От «Моего послания» путь поэтессы лежит к стихотворению «Снег все падает...», написанному непосредственно под впечатлением от речи Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на Всемирном конгрессе в защиту мира в октябре 1973 года.

Чтобы жить в сегодняшнем мире, надо лучше знать друг друга. Книга «Тайны сердец» вносит свой вклад в это полезное дело.

СССР — Индия...

Страна с древней историей и культурой, с колониальным прошлым и большим будущим, страна трудолюбивого и талантливое народа, идущего по пути строительства новой жизни,— такой увидел в свое время Индию выдающийся казахский писатель Мухтар Омарханович Ауэзов.

Свои впечатления и наблюдения он отразил в книге путевых очерков, написанной два десятилетия назад. Позднее она вышла и на русском языке.¹

М. Ауэзов был одним из первых советских писателей, посетивших Индию в то время, когда молодая Индийская Республика, только что освободившаяся из-под ига английских колонизаторов, начала залечивать свои вековые раны, вставала на путь национальной независимости и обновления.

С большой симпатией к народу великой страны, к его искусству, с уважением к многовековым традициям его истории и культуры художник впечатляюще рассказывает нам о том, что он увидел за срок пять дней путешествия по дорогам Индии.

Путевым очеркам «Индийские встречи» предпослано предисловие, написанное лауреатом премии Джавахарлала Неру писателем Ануаром Алимжановым, в котором он свидетельствует, что рассказы Мухтара Омархановича воспринимаются как яркое художественно-документальное произведение об Индии нашего времени.

Конечно, за годы, прошедшие после ауэзовского путешествия, в жизни индийского народа произошло

¹ Мухтар Ауэзов. Индийские встречи. Путевые очерки. Перевод с казахского Алексея Пантислева. «Жазушы». Алматы, 1973.

немало перемен. Уже давно завершено сооружение крупнейшей плотины в Нангале, о строительстве которой пишет автор. Нет в живых и великого сына Индии Джавахарлала Неру, который тогда тепло, по-дружески принял посланцев советской литературы Мухтара Ауэзова и Алексея Суркова; уже низложены князья, махараджи, раджи и низамы, о которых упоминает в своей книге Мухтар-ага. Молодая республика сделала многое, чтобы освободиться от экономической и политической кабалы.

В дни поездки же страна отмечала лишь восьмую годовщину своей независимости. Празднование это было торжественным и широким. Вот как описано оно в главе «Дни в Дели»: «Парад открылся шествием боевых слонов. Покрытые богато расшитыми попонами слоны шли по четыре в ряд. На них сидели воины, вооруженные мечами и копьями былых времен. Отряд боевых слонов остановился у президентской ложи. И, словно по команде, животные подогнули передние ноги и громко затрубили». За слонами, за верблюжьей и конной кавалерией на площадь вышли «современные воинские подразделения, детище XX века — танки, мотопехота, артиллерия; в небе молнией промелькнули эскадрильи реактивных самолетов».

В своих очерках Ауэзов, замечательный художник-гуманист, обращает основное внимание на зримые факты утверждения нового, на первые шаги молодой республики на пути к своему будущему, к прогрессу, на стремление народа к дальнейшему культурному расцвету. Писатель увидел зарождение великой державы, которая при помощи Советского Союза, других стран социализма создает собственную промышленность, открывает новые школы, развивает науку, ведет нелегкую борьбу с горьким наследием колониального прошлого.

Индия, веками испытывавшая гнет чужеземцев, полна контрастов, и об этом не умалчивает автор очерков. Но он делает акцент не на контрастах — социальных, религиозных, кастовых. Ведь налицо плоды усилий правительства по ликвидации мрачных остатков прошлого — вот об этом в «Индийских встречах» говорится в полный голос.

Одна из глав книги — «Новое в новой Индии». В ней рассказывается о сооружении уже упомянутой Нангальской плотины на горной реке Сатледж, одной из пяти рек Панджаба. «Нангал, — пишет М. Ауэзов, — поистине лицо сегодняшней и даже завтрашней Индии. Повсюду приметы высококультурного, высокотехнического строительства. Двадцатипятитонные самосвалы представлялись нам новыми слонами Индии. Экскаваторы, бульдозеры, саренеры, краны затмили фантастических животных, изображенных на древних стенах храмов в качестве символов силы».

Вновь и вновь приходила путешественникам мысль о будущем этой страны. Осмотрели они новый полумиллионный город Чандигарх у подножия Гималаев. Город спланирован продуманно, жилые районы его разбиты на сектора. В каждом секторе оставлена свободная площадь под спортивные сооружения, парки, культурные центры.

Много интересного найдут читатели и в главе «Древние обычаи Индии», и в других главах путешествия, которые, как подчеркивается в предисловии и там, являются первым открытием темы, открытием Индии в казахской литературе. Изданное на казахском языке два десятилетия назад, очерки эти стали, по признанию А. Алимжанова, своего рода эталонным изданием для сегодняшнего развития у нас жанра зарубежной публицистики и очерка. Они прошли испытание временем, благода-

ря не только своей художественности, но, главное, — своей объективности, они сохранили и сохраняют познавательную ценность.

Сборник стихов пятидесяти двух авторов из двенадцати африканских стран «Голоса на рассвете» (перевод М. Курганцева) переносит нас на многострадальную землю Черного континента. Пишут они на разных языках — английском, суахили, французском, арабском, лингала, малагасийском, — но основная тема их творчества едина: мир, свобода, счастье для всех людей.

Принцип расположения материала в сборнике алфавитный, и открывает его подборка стихов поэтов Алжира — страны, сбросившей колониальный гнет и идущей по пути национальной независимости. Воспоминаниями о мрачных временах чужеземного господства, трудной и упорной борьбы за свободу пронизаны стихотворения «Ночи Алжира» Башира Хадж Али, «Мне снилось...» Малека Хаддада, «Ничего» Жана Сенака. И совсем другая — лирико-элегическая интонация слышна в «Песне танца» Маргерит Таос-Амруш — мирное небо над родной землей, можно любить, ждать счастья, радоваться жизни:

На дереве персики снова созрели,
как в прошлом году.
На дереве персики снова созрели,
а я тебя жду...

Республика Берег Слоновой Кости представлена в сборнике стихами Бернара Буа Дадье. Он поет гимн свободному человеку, его натруженным рукам, что «сметают зло, снимают горький осадок дней, срывают маски с фальшивых богов». Особенно ма-

жизни, оптимистична концовка стихотворения
Даже «Руки»:

Черные руки —
руки брата,
полные силы и счастья,—
я протянул к тебе
сквозь океаны и горы,
чтобы смешать воедино
цвета наших рук,
чтобы тебя обрести
и приветствовать, Друг!

Людям, какой бы национальности и цвета кожи
они ни были, дорого чистое небо над головой, голос
матери, прикосновение любимой, улыбка ребенка.
Свежо и по-настоящему трогательно передают эти
чувства гвинеец Лунсейни Каба («Силуэт матери»)
и египетский поэт Салах Гахин («Мир»). Огромным,
веди можно так выразиться, выстраданным пафосом
наполнен вопрос Гахина:

Как я позволю
Начаться войне
Здесь,
У себя на планете?

Вряд ли оставят кого-нибудь равнодушным и
стихи о чистой любви — египетских поэтов Ахмада
Рами, Фатхи Кура, Маамуна Аш-Шанауи, Ибраги-
ма Абд Аль-Хамида Иса. Некоторые из них привле-
чают удачно воспроизведенной в русском переводе
традиционной для восточной поэзии формой, напри-
мер, стихотворение Ахмада Рами «Вспоминай ме-
ня», в котором каждая трехстрочная строфа закан-
чивается повторяющимся рефреном.

И, конечно, лейтмотив большинства вошедших в
сборник произведений африканских поэтов — сво-
бода, гордое, неповторимое ощущение. Как эмоцио-

нально, образно, с какой непосредственностью и темпераментом передает его Жан Мари Китиква (Республика Заир):

Как радужный гребень
над прядью седой водопада,
над Африкой блещет
заря долгожданного дня.
Свобода!
Ты — плащ мой.
Не знаю прекрасней наряда.
Свобода!
Ты — солнечный луч
на лице у меня.
(«Бьет барабан»)

Встает над огромным континентом рассвет, как пишет суданец Мухаммед Аль-Фейтурби, «начинается новая эра — эра Сорванных Пут, и Разбитых Оков, и Расправленных плеч» («Голос Африки»). Не случайно для стихов разных африканских поэтов характерны образы светлого утра, солнечного дня, пришедших на смену «роковой вековой ночи». И еще одна общая тема — гордость за свою страну, любовь к языку родного народа. «Помни, Мадагаскар не продается», — говорит, обращаясь к «богатому белому господину», Жорж Раду («Песня зумы»). А танзаниец Саиди Нгузо вдохновенно славит свой родной язык суахили, чье «начало — в сердце народа» («Язык суахили»).

Да, тени мрачной ночи рассеиваются. Однако они еще нависают кое-где над Черным континентом. Страдают под жестоким, бесчеловечным гнетом апартеида коренные жители Южно-Африканской Республики. И, естественно, болью и гневом наполнены стихи поэтов ЮАР — Леонарда Коса, Питера Абрахамса, Блока Модисане, Питера Кларка, Бенедикта Вилакази и Мазиси Купене, широко представленные в сборнике.

Сколько горечи и сарказма в стихах Леонарда Кисси! Даже названия их — «Жалоба африканца», «Прощание», «Цветной» — говорят сами за себя. Поместить тягостно, невыносимо жить в стране, где цветному рядом с белым дышать запрещено». Но Л. Кисси не был бы настоящим поэтом, если бы потерял перу и жизнь.

Дело близится к развязке.
Время жить не по указке,
Будьте полными людьми! —

В таком призывом к своим черным соотечественникам обращается поэт («Братьям»).

Мы будем жить.
Не покоримся, нет! —

вторит ему Мазиси Кунене в своей «Песне о Вьетнаме».

Думается, эти полные силы и веры слова можно было бы поставить эпиграфом к книге «Голоса на рассвете», книге, дающей довольно широкое представление о современной поэзии пробуждающегося континента.

Несколько слов о качестве перевода. Выше уже было названо стихотворение Ахмада Рами, удачно, на наш взгляд, передающее национальный колорит и своеобразие африканской поэзии. Можно отметить и этой точки зрения и другие стихи сборника, в частности, «В бурю» — Антуана Роже Боламба (Республика Заир). Буйной, неукротимой энергией, жизнерадостной, бьющей через край экспрессией насыщена каждая строка стихотворения о разбушевавшейся реке Конго. Переводчик умело использует здесь звучание слов оригинала — названия конголезских музыкальных инструментов.

«Красные бобы» — значится на обложке сборни-

ка стихов китайских поэтов (составитель А. Гатов, перевод Г. Ярославцева. Алма-Ата, «Жазушы», 1972). Эти слова также символичны.

Красные бобы — плоды дерева хундоу, воспетого еще в глубокой древности, — для китайцев такой же живой, полный глубокого смысла, конкретный образ, как для нас, скажем, волшебное пушкинское лукоморье, неудержимая гоголевская птица-тройка, белоствольная есенинская березка или трогательная тонкая рябина. В сборник включены стихи девяти китайских поэтов двадцатых-сороковых годов. Это, как написал в предисловии к книге Агей Гатов, лишь малая горсть прекрасного наследия богатой традициями китайской литературы.

Напрасны усилия нынешних пекинских идеологов вытравить из памяти народа уважение к стране Великого Октября, которая пришла к нему на помощь в самую трудную годину борьбы за свободу. Сделать это невозможно, как невозможно перечеркнуть непреходящие ценности наследия литературы, ее гуманизм, веру в торжество разума и справедливости.

Книга открывается подборкой стихов Вэнь И-до (1899—1946) — известного поэта, ученого-литературоведа, видного деятеля демократического движения в Китае. Вэнь И-до в свое время закончил Пекинский университет «Цинхуа», жил в США, где изучал литературу и живопись. Вернувшись на родину, читал курсы китайской и западных литератур в университетах. После второй мировой войны резко выступал против гоминдановского режима, за демократизацию страны и был убит агентами чанкай-шистской охраны.

В жизни и творчестве Вэнь И-до воплотились лучшие черты передовой китайской интеллигенции — демократические устремления, патриотизм, страсть

и искреннюю, глубокое уважение к достижениям отечественной и мировой культуры. Эти мотивы отчетливо звучат в стихотворениях «Тихая ночь», «Думы и крикантизма», «Загадка времени», «Палитра жизни» и других, а также цикле стихов, давшем название сборнику.

Итак, «Красные бобы». В чем же смысл этого образа? Красный боб, или четочник, указывается в примечании, — южное дерево, семена которого служили в китайской поэзии символом тоски в разлуке. Метафорически их называют еще «сян сы доу» — «бобы памяти». Образ взят из стихотворения поэта ранней эпохи Ван Вэя (701—761), которое Вэнь И-до использовал в качестве эпиграфа к своему циклу:

Красные бобы
В долинах юга
За весну
Еще ветвистей стали.
Собери побольше их
Для друга
И утешь меня
В моей печали.

Однако при всей традиционности этой темы — тоска в разлуке по любимой — Вэнь И-до насыщает стихи цикла новым значительным содержанием. Примечательна в этом смысле строфа:

О сердце мое —
Беззащитный, израненный город.
Полночный покой
Тоской неожиданной вспорот...
Не выйти из плена...
И цели тоски несомненны:
Возводит захватчица
В сердце
Недвижные стены.

Большое влияние на Вэнь И-до оказало творче-

ство одного из крупнейших представителей английской романтической поэзии Джона Китса. Неслучайно его строки послужили эпиграфом к стихотворению «Западный берег»:

Пусть света нет, но есть мечта о свете,
Есть человек, что не попался в сети.
Он смотрит на реку. Ее течение
Рождает мысли, образы, сомненья.

С Вэнь И-до тематически перекликаются произведения поэта и революционера, одного из организаторов Лиги левых писателей Китая Инь Фу (1909—1931), чье творчество также представлено солидной подборкой стихов. Писать Инь Фу начал в отрочестве, в шестнадцать лет стал участником революционного движения, в мае 1930 года вступил в КПК. Его перу принадлежит множество стихотворений, рассказов и очерков. Наставником и редактором Инь Фу являлся великий китайский писатель и патриот, друг Советского Союза Лу Синь. Творческим идеалом поэта был Шандор Петефи, чьи произведения он переводил на китайский язык.

«Хочу я жить для праведного дела», — заявляет поэт («Вернись», 1928).

Непоколебимым мужеством, решимостью, верой в правоту дышат и строки написанного в ноябре 1929 года стихотворения «Да будет с мертвыми покой!», в котором автор присягает в верности своим погибшим товарищам и заверяет:

Идем! Суров закон войны,
Мы следовать ему должны.
Тот долг исполнил, кто убит.
А нам — исполнить предстоит.

Особое место в сборнике занимают главы из поэмы «К солнцу», созданной в 1938 году Ай Цингом —

нишим поэтом, автором сборников стихов «Север», «Юнь», «Рубиновые звезды» и многих других. Главными темами его творчества были борьба за мир, националистическое строительство, дружба с Советским Союзом.

Предлагаемая вниманию читателей (в отрывках) поэма «К солнцу» — вдохновенный гимн всему светлему, доброму, что радует человека, освобождает его от гнета и страданий, возвышая и облагораживая его. Стоит полностью привести здесь строфу, наиболее точно передающую пафос и мироощущение автора поэмы:

Солнце!
Оно побуждает нас вспомнить
Революции во Франции и Америке.
Вспомнить клич:
«Свобода! Равенство! Братство!» —
И демократию,
Вспомнить «Марсельезу»,
«Интернационал»,
Вашингтона, Ленина, Сунь Ят-сена,
Всех героев Земли нашей вспомнить,
Освободивших людей от бед.
Вспомнить солнце прекрасно,
Лишь оно — бессмертно!

Именно такие, на первый взгляд неожиданные, глубокие ассоциации вызывает у поэта дневное светило.

Художественная ткань поэмы весьма своеобразна. Поэт владеет верлибром, Ай Цин ведет повествование очень живо, естественно и раскованно. Благодаря подлинное эстетическое удовлетворение от знакомства с произведением мастера поэтического слова, который, помимо всего прочего, внес значительный вклад в теорию и практику свободного стиха, следуя поэтическим принципам Эмиля Верхарна, Уолта Уитмена, Вл. Маяковского.

К сожалению, весьма скромный объем сборника не позволял шире представить других китайских

поэтов. Кроме уже упомянутых, в книге напечатано лишь по одному стихотворению Фан Чжи-миня, пламенного поэта-коммуниста, командира китайской Красной армии, казненного гоминдановцами в 1935 году, и других современных поэтов — Тянь Цзяня, Юань Шуй-по, Ван Лао-цзю, Цзинь По, Ли Цзи. О чем эти стихи? О солидарности простых людей Земли, о победе советского народа над фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, о вере в будущее, в торжество разума и справедливости.

Особенно характерно заключающее сборник стихотворение «Ноябрь в Москве». Его автор — Ли Цзи — известный поэт, неоднократно посещал СССР, бывал в Москве, Ленинграде и в других городах. Поездки принесли ему обильный материал для создания многих стихотворений о Советской стране и ее людях.

Горячи их сердца,
И они побеждают,
Разгоняя повсюду
И холод, и темь.
Их всегда окрыляет,
Их к труду призывает
Коммунизм —
Человечества завтрашний
день,—

пишет поэт о своих друзьях-москвичах.

Рисуя в стихах мирные картины предзимней Москвы, проходя по ее широким проспектам и площадям и везде встречая открытые, приветливые лица, Ли Цзи чувствует себя легко и свободно в этом чудесном городе, где «зимой даже южные птицы согреваются, словно в доме родном».

Да, доброе чувство к нашей родине, к советским людям живо в памяти многих китайцев. В этом еще

и еще раз убеждаешься, листовая страничка «Красных бобов». Переводчик стихов китайских поэтов, воспитанный в сборник. Геннадий Ярославцев стремился по возможности полнее и точнее донести поэтические особенности оригинала, что ему, на наш взгляд, в основном удалось. Пример тому — поэма «К солнцу».

В книге «Красные бобы» слышится ненависть к тирании и мечта о свободе и братстве, она проникнута духом интернационализма и гражданственности. И мы собираем и будем собирать эти живые «красные бобы», собирать и для китайского народа, храня добрую память о нем в трудные для него дни, в верой и его справедливое будущее.

Перед Питой конференцией вышла в Алма-Ате книга «Поэты Палестины». Вместе с произведениями других авторов здесь были опубликованы стихи Мухаммад Бенсу — одного из популярнейших современных поэтов-лириков Арабского Востока. Эти яркие, темпераментные, подлинно новаторские стихи запомним как антифашизм. Запомнился и их автор — молодой, темноволосый человек, приехавший в столицу Казахстана для участия в международном литературном форуме. На литературном вечере он читал стихи на арабском, потрясающая зал удивленной и восторженной — ликующих, четких, словесно выразительных — интонаций музыкой.

И вскоре после Алма-Атинского форума появилась возможность ближе познакомиться с творчеством «спиритизированного поэта» в Москве вышел сборник «Палестинская карточка», включающий более сорока его лучших стихотворений.

Мухаммад Бенсу. Палестинская карточка. Перевод с арабского. Предисловие Михаила Кургинцева. «Наука», М., 1974.

Как пишет в предисловии к книге другой участник Пятой конференции, специалист по литературе стран Азии и Африки М. Курганцев, Муин Бсису родился в 1928 году. Когда ему исполнилось двадцать лет, большую часть его соотечественников постигла страшная участь. Жертвы сионистской политики и колониалистских интриг, арабские труженики, веками жившие на палестинской земле, превратились в изгнанников, беженцев, мучеников. Горестная и нищая жизнь на чужбине стала с тех пор уделом сотен тысяч палестинцев.

Поэтический голос Муина Бсису, гневный и сильный, зазвучал в начале 50-х годов. Первые стихи были опубликованы в еженедельнике израильских коммунистов «Аль-Иттихад». Первый сборник поэта «Письма», выпущенный в 1952 году, переиздавался шесть раз. Широкое признание в арабском мире обрели книги стихов Муина Бсису «Распятая Иордания», «Палестина в сердце», «Деревья умирают стоя», «Египетская плотина», «Я пришел, чтобы назвать твоё имя». «Это,— отмечает переводчик,— мужественные, суровые, честные стихи о том, что настоящему мучит и заботит современников поэта. Стихи об угнетении и свободе, о родине и человечестве, о смысле жизни и бессмысленности смерти, о любви и ненависти, об одиночестве и братстве».

Высокое призвание таланта, героизм художника, вопреки опасностям открывающего людям всю правду,— одна из важнейших тем Муина Бсису. Не случайно именно об этом стихотворение под характерным заголовком «Скажи и умри», которым открывается сборник «Визитная карточка»:

Молчание — смерть,
Скажи и умри.
Клоуны шутками перебросятся —
оба довольны, оба умны.

Эмиры знают, где правда, где ложь,
а ты, притворяясь немым, бредешь
от тюрьмы до тюрьмы.
Скажешь — умрешь.
Промолчишь — умрешь.
Так скажи — и умри.

И Бсису говорит обо всем, что его волнует, открыто, гневно, в полный голос. Немало строк посвящает он разоблачению литературной фальши, торговли словом, профанации художественного творчества, присущей буржуазному миру. «Капиталистическое производство, — писал Карл Маркс, — враждебно известным отраслям духовного производства, например, искусству и поэзии». Бсису остро чувствует эту враждебность. Под его пером возникают «поэты-оптовики», крикливо рекламирующие свой товар; слово, которое «сдается кому угодно на час или на ночь»; художник, которому «все равно: что алмаз, что навоз».

В атмосфере реакционного, полицейского режима, под игм эксплуататорского полицейского государства происходит деградация творческой личности. С горечью и сарказмом пишет об этом Бсису во внешне ироничном, а по сути остром, разящем стихотворении «Посвящается Рембо», высмеивающем поэтов, которые подбирают

Куски от обеда больших людей,
получают кубки, медали и бляхи...
Получают жандармскую визу —
Улыбку начищенного сапога —
для каждой книги,
для каждой строки...

Но главенствующая тема всего творчества Бсису — тема истерзанной, окровавленной родины, тема палестинского народа-мученика. Мужество, безграничная вера в победу, ненависть и презрение к за-

воевателям чужих земель — вот «генеральная дума» поэта, и он спешит донести ее до своих соотечественников. Муин Бсису заботится не о благозвучии, а о том, чтобы предельно сконцентрировать мысль, насытить стих максимально сгущенной энергией. О сегодняшней яви многострадальной Палестины поэт говорит немногословно, но с такой экспрессией, какая может быть достигнута, пожалуй, только в стихах, где за каждым словом — образ, за каждой деталью и строчкой — картина.

Родина,
Моя родина,
высохший полумесяц
без земли и без неба! —

с такими словами обращается Бсису к своей отчей земле. Обращается издалека, из Бейрута, где он живет в эмиграции. В обостренном восприятии поэта именно так выглядит его «крохотная отчизна», которую он, бездомный, носит в сердце своем, ибо родина, что бы ни случилось, всегда — с любящим, до конца преданным ей сыном.

Родина для поэта продолжает оставаться источником нравственных и творческих сил, ради нее он готов на любые страдания и жертвы. «Не умеющий быть двуликим», он открыто признается в этом во многих стихотворениях: «У дерева одно лицо», «Моей дочери», «Визитная карточка», «Нитка, растущая на ветру», «Песня с завязанными глазами». Последнее заканчивается энергичными, полными силы и высокого пафоса строками:

Ради тебя, Отчизна,
Я выхожу на приступ,
Ради тебя подставляю
Грудь свою под напалм...

Мой хлеб замешан на крови

ради тебя, Отчизна.
Ты проколола сердце
огненным острием!

Борец за свободу отчей земли, гневно осуждающий захватчиков, Бсису обличает и «своих» реакционеров, политиканов, экстремистов. Всем им он просает в лицо короткое, решительное «Нет!» Такой эпиграммой носит одно из стихотворений, посвященное Газе — городу, ставшему известным всему миру после разыгравшейся там в 1970 году трагедии — кровавой расправы чужеземных захватчиков над беженцами. Показательно, что страшные эти события нашли отголосок в стихах не одного Муина Бсису: в упомянутом выше сборнике «Поэты Палестины» среди других и стихотворение Салиха аль-Касема, которое так и называется «Газа».

Бсису не был бы настоящим поэтом, если бы в стихах его звучали лишь мотивы горечи и скорби. Перефразируя известные слова Владимира Маяковского (кстати, короткие, рубленые строки палестинца невольно заставляют вспомнить характерные черты стиля замечательного советского поэта-новатора), можно с полным правом сказать, что поэзия для Бсису — «могучая музыка, способная мертвых сражаться поднять». Твердость и стойкость, духовная сила и воля к сопротивлению, не умирающая в палестинском народе, — вот идеи, проходящие «открытым текстом» через все творчество Бсису. «Глаза людские тверды, как пули», «капли крови бегут и, прикасаясь к старой земле, встают волнами огня»; «Не выйдет вешалка из моей шеи для вражьей каски, для вражьей шинели», — все это свидетельство мужества, решимости выстоять и победить.

Стихотворение «Нет!» трудно поддается обычному пересказу и комментированию; его надо читать, чтобы сполна оценить четкий, упругий ритм, пора-

зительную весомость бьющих точно в цель строк. Короткое «нет!» становится здесь рефреном. Его кричат раны и цепи истерзанного города, «кричит стена старого дома, которая тысячу раз умирала и все же стоит», и образ этой стены вырастает в символ родины, покорить которую невозможно.

«Бсису,— пишет известный советский поэт Кайсын Кулиев,— как и всякий истинный художник, прежде всего сын своей земли, привязанный к ней горячей любовью, самозабвенно преданный ей, ее хлебу и воде, ее истории, ее нынешней судьбе и будущему, он живет борьбой своего народа за свободу, его радостями и болями, его заботами и надеждами. Любой большой поэт иначе и не может жить. Только через сердце и душу родного народа лежит его путь к человечеству. Всем этим и пронизана поэзия Муина Бсису, это и является его главной, его заветной темой».

Именно отсюда для поэта, которому чужды националистическая узость и ограниченность, начинается «путь к человечеству». Уже сами названия произведений — «Песня о референдуме в Греции», «Открытка Пушкину», «Песня о Самарканде», «Таня» — и других стихов, вошедших в сборник, говорят о широте поэтического видения Бсису, его сопричастности ко многому из того, что свершается на нашей планете.

Обращаясь к родной земле, он говорит: «Я несу на плечах тебя и Освенцим», остро принимая к сердцу и трагедию палестинских изгнанников, и трагедию евреев, замученных в фашистских лагерях смерти. Пожалуй, можно назвать немного стихов, подобных «Песне о референдуме в Греции», в которых столь же лаконично и убийственно точно была бы обнажена суть реакционной политики душителей свободы и демократии на земле древней Эллады.

Нот каким предстает в изображении Бсису тот престолуемый, печальной памяти референдум «черных шелковников»:

Согласны?

Согласны, чего там, согласны,
хотя здесь не ахти какие соблазны.

Согласны?

Согласны, хотя и безгласны.

Танки на улицах

первоклассны.

Согласны —

всех на хлеб и на воду.

Закованы руки

души распластаны...

А сколько щемящей боли в каждой строке стихотворения «Таня», которому предпосланы слова: «Посвящается Тане Савичевой и всем ленинградским детям, узнавшим, что такое блокада!» Да, палестинский поэт, побывав в славном городе-герое на Неве, многое узнал о беспредельной стойкости и мужестве советских людей, защитников Ленинграда; рассказы о героях блокады поразили его, запали глубоко в сердце. В числе прочих реликвий тех суровых дней посланцу арабской земли довелось своими глазами увидеть знаменитый дневник маленькой ленинградки Тани Савичевой, прочитать скупые, потрясающие душу записи: «Первый день: умер отец...» «Второй день: умер брат...» «Третий день: умерла мать...» Калеными стрелами вонзились слова эти в память Муина Бсису, и он написал стихотворение-памятник, стихотворение-реквием, стихотворение-исповедь, в котором, обращаясь к Тане, признается, что

...с тех пор,

как я о тебе слышал

и прочитал твои девять страничек,

осколками стекол

любая из песен
мне режет горло...

Поэт не может быть спокойным, «пока убийцы ходят по земле», и в героях ленинградской блокады видит товарищей по борьбе с темными силами века.

Для Муина Бсису не имеет значения национальное происхождение представителей этих темных сил; главное для него — развенчание посредством меткого, политически заостренного, порою аллегорического слова реакционеров всех мастей. Так, в стихотворении «Я, ты, он» создан обобщенный портрет послушного воле фашиствующих правителей, нерассуждающего солдата-робота, обученного только выполнять приказы — любые, самые бесчеловечные.

Его учили:
«Сердце — камень».
Выучили.
Сердце окаменело.
Надо было кричать:
«Да здравствует то!»,
«Долой это!»,
«Смерть такому-то!»
И он кричал
все, что надо.
В его словаре
никогда, никогда
не было нас с тобой.
Он знает лишь то,
чему научили,
и он убивает
тебя и меня.

Здесь, верно отмечает составитель сборника, нет каких-то конкретных признаков, мы не знаем, где ревностно служит «он»: в Южной Африке или в Родезии, в Чили или на Ближнем Востоке. Мы распознаем его не по национальной принадлежности, а

но выучке, по речам, которые он ведет, и делам, которые он творит.

Как видим, Муин Бсису — отнюдь не принадлежит к числу поэтов, услаждающих слух поклонников «чистого искусства», его лира громка, как набат, политична по своей глубокой внутренней сути: это поэзия поистине высокого гражданского, патристического накала. Однако при всем том Бсису никогда не сбивается на бездушную декламацию, избегает пустой словесной мишуры, газетных банальностей, холодной лозунговости. Поэт, более всего озабоченный судьбой родной страны, в то же время чутко реагирует на заботы и беды, драматические коллизии арабского мира наших дней. И все эти заботы и беды, значительные общественные события находят отражение в его творчестве — искреннем, человечном, гражданственном, основывающемся не на внешних, а на глубоко внутренних импульсах. Здесь и заключена важнейшая особенность политической поэзии Бсису, представляющей собой порождение самых сокровенных глубин его существа. Типично в этом плане очень личное и вместе с тем острополитическое стихотворение «Третья река Ирака», созданное еще в годы, когда в Ираке у власти стояла королевская клика, когда лучшие люди страны томились в пустыне, в «иракском Бухенвальде» — концлагере «Нукрат Сальман»:

Я тебя не увижу.
Снега потекут по склонам.
Тигр и Евфрат разольются.
Две реки. Есть и третья.
Третья река Ирака.
На карте о ней — ни слова.
Она течет от бараков
«Нукрат Сальмана».
Виселицы-паруса.
Тюрьмы-притоки.

Отсюда взываю к братьям
снова и снова.

Характерно, что в сборнике стихов Бсису-поэта, за которым прочно закрепилась слава известного лирика, совершенно отсутствуют такие традиционные для восточной поэзии мотивы, как воспевание любви, девичьей красоты, нет здесь и сопровождающей обычно «вечные» темы банальной атрибутики, вроде роз, соловьев и тому подобного. В связи с этим вспоминается признание мастера лирической поэзии — Сергея Есенина:

Стишок писнуть,
Пожалуй, всякий может —
О девушке, о звездах, о луне...
Но мне другое чувство
Сердце гложет,
Другие думы
Давят череп мне.

«Иная дума гложет» и сердце палестинского поэта: трагедия родного народа, многострадальной, выжженной войною земли, скорбь о павших в борьбе за свободу отчизны и неугасимая надежда на светлое завтра.

«Соловей и меч» — неожиданный этот заголовок носит одно из стихотворений сборника. Пока соотечественники лишены свободы, Бсису не может петь о счастье, а потому совершенно несочетающиеся понятия «соловей» и «меч» он ставит в один ассоциативный ряд. «Время бежит, — пишет поэт, — мир о нас не узнает во веки веков, если мы не поднимем восстания, если не станут друзьями меч революции и соловей любви».

Издание в Москве сборника стихов Муина Бсису — поэта большой патриотической темы, борца за справедливые права своего народа — достойный вклад нашей страны в благородное дело расшире-

ния и укрепления связей с писателями двух великих континентов.

Примечательно, что как раз в дни работы Алма-Атинской конференции на книжных полках появилась книга известного критика, секретаря правления Союза писателей СССР Виталия Озерова¹, сразу же привлечшая к себе внимание широтой и актуальностью затронутых проблем. И это не удивительно: книга «Тревоги мира и сердце писателя» рассказывает об участии советских писателей в международной литературной жизни. В. Озеров останавливается главным образом на тех моментах деятельности Союза писателей СССР за последние годы, которые ему довелось наблюдать лично. Читатель найдет здесь рассказ о видных советских и зарубежных писателях, с которыми автор участвовал в различных творческих встречах и дискуссиях. В центре авторского внимания — яркие эпизоды борьбы деятелей литературы и искусства многих стран за мир, сложные, а порой и драматические их судьбы.

Характерно название первой главы: «Проблемы века врываются в наши дома». Писатель, отмечает-ся здесь, не может равнодушно взирать на то, что происходит в мире, не учитывать, что есть такие ситуации, в которые нельзя, невозможно не вмешаться честному человеку. Прежде всего — угроза новой войны. Атомная и водородная бомбы еще более обострили ощущение катастрофы, грозящей человечеству. И большинство близких народу мастеров слова разных стран заняли свое место в рядах активных борцов за мир. Их объединяет антифашистская, антивоенная программа. Они организуют важные мероприятия, руководят международными комитетами и ассоциациями защитников мира.

¹ В. Озеров. Тревоги мира и сердце писателя. «Советский писатель». М., 1973.

Человечество не забудет благородной деятельности корифеев культуры — Ромена Роллана, Анри Барбюса, Теодора Драйзера, Мартина Андерсена-Нексе, Максима Горького. Наши современники подхватили эту эстафету. С большим уважением пишет В. Озеров об одном из них — лауреате премии «За укрепление мира между народами», члене Всемирного Совета Мира, замечательном советском поэте Николае Тихонове. Уже сами названия его произведений — «Афганская баллада», «Финский праздник», «Индийский сон», «Площадь Бастилии», «Говорит Испания», «Под небом Востока», «Времена и дороги» — свидетельствуют о широте географического диапазона писателя. Участвуя в движении за мир, он побывал едва ли не во всех горячих точках планеты.

Неизменной оставалась его любовь к Востоку. Любопытный случай вспоминают в этой связи Мирзо Турсун-заде и Анатолий Софронов — члены делегации, во главе которой Николай Тихонов ездил в Пакистан. После долгих мытарств добрались до одного из старинных пакистанских городов — Лахора, тогда еще «терра инкогнита» для советских писателей. На перекрестке двух улиц Тихонов остановился, огляделся и уверенно сказал: «А здесь, за углом, стоит пушка Земзамах, из нее во время восстания против англичан повстанцы стреляли по колонизаторам». Все были поражены, действительно обнаружив эту пушку. Посыпались вопросы:

— Разве вы уже были в Лахоре, Николай Семенович?

— Откуда вы знаете все это?

— В Лахоре я не был, — отвечал Тихонов, — но я знаю его историю.

Отлично знал Тихонов Восток, отмечает автор, а там столь же хорошо знают этого седого

человека с юношеским блеском в глазах. В Индии, Бирме, Пакистане, Афганистане, Сибири, Ливане, в десятках стран он пользуется огромным уважением.

В середине пятидесятых годов Тихонов получил письмо от группы японских студентов. Они сообщали о предсмертной воле их недавно погибшего друга, члена Лиги демократической молодежи Хирома Исии: «взойти на Юнгфрау в Альпах и прочесть в японском переводе стихи Николая Тихонова». В честь молодого борца за мир Тихонов написал два стихотворения, они были переведены в Японии.

В лице Николая Тихонова, подчеркивается в книге, соединились общественный деятель, ученый-путешественник, многосторонний художник, чья душевная отзывчивость на тревоги и надежды человечества привлекает к нему людские сердца.

Такая же прекрасная черта свойственна неравнодушным, активным людям всех стран и континентов, услышавшим, как громко и властно стучатся в наши дома проблемы века. Литераторы поняли насущную потребность времени — не ограничиваться рассуждениями о мире и прогрессе, а бороться за них. Сознание этой своей исторической миссии окрылило целую плеяду деятелей науки и искусства. Международной Ленинской премией «За укрепление мира между народами» отмечены заслуги писателей: Николая Тихонова, Александра Корнейчука, Ильи Эренбурга (СССР), Ярослава Ивашкевича и Леона Кручковского (Польша), Анны Зегерс, Бертольда Брехта, Арнольда Цвейга, Иоганнеса Р. Бехера (ГДР), Михаила Садовяну (Румыния), Жоржи Амаду (Бразилия), Пабло Неруды (Чили), Николаса Гильена (Куба), Айвора Монтегю и Джеймса Олдриджа (Англия), Данило Дольчи (Италия), Костаса Варналиса (Греция), Альфредо

Вареллы (Аргентина), Рафаэля Альберти (Испания), Мигеля Отеро-Сильвы (Венесуэла), Эрве Базена (Франция), Абдуррахмана аль-Хамиси (Арабская Республика Египет).

Движение сторонников мира ширится, в него вовлекаются новые писатели-гуманисты. Стремясь к конкретным действиям, они оказали большую помощь в созыве и проведении Общеввропейского совещания по вопросам безопасности и сотрудничества, включились в работу огромного значения — подготовку и проведение Всемирного конгресса миролюбивых сил. Они объединились на широкой платформе: борьба против войны и неокolonизма, обеспечение международной безопасности и национальной независимости, сотрудничество народов и государств и расширение взаимопонимания...

Другая глава книги переносит нас в Японию. И тут, пожалуй, уместно отметить характерную особенность озеровского стиля — его динамизм, краткость, стремительность. Прошли те времена, когда путешественники-счастливицы, коим выпадала редкая радость открытия мира, скрупулезно передавали подробности своих странствий. И нас не удивляет лапидарность авторского слога: «Темп, все нарастающий темп. В стремительном темпе добиралась мы до Японии».

Так начинается глава «Между надеждой и отчаянием», рисующая разительные контрасты жизни далекой страны, одной из тех, где до предела обострились противоречия капитализма, столкнувшись с патриархальными обычаями и смелыми дерзаниями человеческой мысли. Конечно, Японию В. Озеров открывает не первым, и он сам сразу же напоминает о том, что обстоятельные сведения о культурной жизни страны можно встретить в книгах многих советских литераторов — «Японских запис-

вах» бывшего посла Советского Союза, писателя и литературоведа Николая Федоренко, «Ветке сакуры» Всеволода Овчинникова, в прошлом токийского корреспондента «Правды», в очерковом произведении неустоимых путешественников Николая Михайлова и Зинаиды Косенко «Япония», в книге Даниила Гранина «Сад камней».

В. Озеров акцентирует внимание читателей на особенностях духовного облика японского народа, отмечает большой и постоянный его интерес к советской литературе.

Огромными событиями в культурной жизни страны, подчеркивает автор, были приезды в Японию Михаила Шолохова. Приводятся его слова, произнесенные на одной из встреч с писателями:

«— Мне кажется совершенно естественным, что каждая литература развивается и идет в жизнь своими путями. Это закономерно. Но мне кажется также, что наша общая задача — задача писателей — способствовать облагораживанию человеческих душ и делать литературу достойной наших современников. Я глубокий сторонник общения, культурного обмена. Как можно большее число писателей должно посещать другие страны. К японскому народу у нас очень доброе отношение. Все слои общества будут встречать японских писателей, которые приедут к нам, с одинаковым радушием».

Столь же популярны на японских островах Леонид Леонов, Олеся Гончар, Михаил Стельмах.

Возвращаясь к Михаилу Шолохову, В. Озеров напоминает, что именно в Японии в свое время вышло первое зарубежное издание «Тихого Дона», причем переведенное прямо с журнального текста. Роман вызвал исключительный интерес читательских масс и ярость реакционеров. Показательно, что «Главная прокуратура по идеологической охра-

не трона» (существовало такое учреждение!) потребовала изъять из продажи вторую книгу эпосов.

В главе, посвященной «Стране восходящего солнца», выделяется рассказ об удивительной судьбе литератора Дзюнпэя Гомикавы, одного из тех, кто сумел многое переосмыслить в жизни и сделать верный выбор.

Дзюнпэй Гомикава, напоминает В. Озеров, был гостем нашего Пятого писательского съезда. Его речь произвела глубокое впечатление на делегатов. Еще больше мы узнали об этом человеке после того, как в «Литературной газете» была опубликована беседа с ним специального корреспондента Н. Марра, выяснившего, что Гомикава воевал на том же самом участке фронта, где в 1945 году сражался он сам, Наум Марр, вместе со своим другом Алексеем Котеневым, автором романа «Грозовой август» — о разгроме Квантунской армии. Неудивительно, что эти страницы книги читаются с огромным интересом.

Дзюнпэй Гомикава так вспоминает о давних событиях, когда его мобилизовали в армию и отправили на советскую границу.

«— Тут меня застало утро 9 августа 1945 года: война с Советским Союзом. В полку тревога! Ровно в девять появились советские танки (мы сидели в окопах). Они налетели, как шквал, и открыли страшный огонь. Еще несколько минут, и танки уже окружили наш полк... Эти минуты были самыми страшными в моей жизни. Я обошел окопы. Искал своих. В живых осталось только четверо, кроме меня... Итак, я попал в плен. Бежал. Почему? Говорили, что пленных отправляют в Сибирь! Я побоялся, что не переживу тамошнюю зиму, и решил бежать. Очень длинной была дорога домой...»

Длинной оказалась и дорога, свидетельствует

В. Озеров, которая привела в Москву бывшего японского ефрейтора, а ныне знаменитого писателя, автора антивоенных книг, в которые он вложил весь свой тяжкий жизненный опыт, всю боль сердца, ненависть к агрессивной политике.

Говоря о Японии, В. Озеров подчеркивает, что зарубежных собеседников неизменно поражают данные о многочисленной писательской организации Советской страны.

Характер и формы нашей литературной жизни, пишет автор, изучаются зарубежными друзьями, оказываются под яростным обстрелом врагов. По-разному складываются и взаимоотношения советских писателей с писателями мира. В одних случаях к нашему опыту присматриваются, как к чему-то чрезвычайно заманчивому, но вряд ли применимому в местной обстановке (это в значительной мере относится и к Японии). В других случаях можно говорить о прямом и в высшей степени плодотворном влиянии. Речь идет о народах, вставших на путь национально-освободительной революционной борьбы и сделавших литературу активным участником этой борьбы. Такого рода историческая общность уже превратилась — для стран социалистического лагеря — в единство социальное, политическое, нравственное, эстетическое.

Пример тому — литераторы Болгарской Народной Республики. Развернутые интервью с пятью из них — Людмилом Стояновым, Георгием Караславовым, Тодором Павловым, Лозаном Стрелковым, Георгием Цаневым — составили содержание главы «Пять встреч в Софии».

Каждое интервью сопровождается авторским комментарием. Первым собеседником В. Озерова в Софии был Людмил Стоянов, с именем которого ассоциируется теснейшая близость русской, советской

и болгарской культур, сила революционных идей, сделавшая бывшего символиста крупнейшим мастером социалистического реализма. Его рассказ о себе, своем пути писателя и гражданина, захватывает своим подлинным драматизмом, остротой пережитого и прочувствованного. Революционная борьба, любовь к Советской стране определили весь путь этого народного художника, академика, лауреата высших государственных премий Болгарии, кавалера советского ордена Трудового Красного Знамени. Стоит лишь еще раз подчеркнуть органичность общественного и творческого облика писателя.

Переход Людмила Стоянова на позиции активного гуманизма, реалистического творчества произошел под воздействием тех, кого он считал высшим для себя авторитетом: «Благодаря Горькому я смог найти равнодействующую между искусством и жизнью, между творчеством и действительностью. Как великий учитель жизни, он указал мне путь писателя и человека».

Такой же путь избрало большинство болгарских мастеров слова, его современников. Рассказывая о себе, они как бы дополняют Людмила Стоянова.

— Сначала,— говорит Христо Радевский,— мне открылась Россия... Потом Революция... И после нее Советский Союз... Так постепенно и в то же время стремительно эта — географически и духовно — необъятная страна вошла в мою жизнь. Вошла, как утро входит в наши комнаты, как входят в нашу жизнь большие события и сразу определяют нашу дальнейшую судьбу.

Заключают главу приводимые автором красноречивые свидетельства прочности советско-болгарских литературных связей. Так, в Болгарии к 50-летию Октября была выпущена многотомная библио-

теки советской литературы; в СССР — к 25-летию социалистической революции в НРБ завершено издание «Библиотеки болгарской литературы» в пятнадцати томах. Еще пример: однотомная антология, в которой собрано написанное советскими литераторами о братской стране. Ее под названием «Встречи с Болгарией» выпустило в 1967 году софийское издательство «Народна култура»...

Много места уделено в книге афро-азиатскому писательскому движению (главы «Огненные континенты» и «Активность действий, напряжение мысли»). Оно берет свое начало с Первой конференции писателей стран Азии и Африки, состоявшейся в 1958 году в Ташкенте.

В. Озеров подробно рассказывает и обо всех последующих афро-азиатских литературных форумах — в Каире, Бейруте и Дели.

Афро-азиатское писательское движение начертало на своем знамени благородную цель — сделать литературу мощным средством борьбы за независимость, национальный суверенитет, свободу и счастье народов, за развитие всех способностей и дарований личности, за конструктивный вклад в человеческую цивилизацию.

В. Озеров пишет о замечательных людях, с которыми в разное время встречался и беседовал, — таких, как известный южноафриканский прозаик, лауреат премии «Лотос» Алекс Ла Гума, кенийские писатели Грейс Окот и Джонатан Кариара. С сердечной симпатией рассказывает он об искренних друзьях нашей страны — монгольских писателях Бембыне Ринчене, Сономын Удвал, Лодонгийне Тудэве (кстати, также участнике алма-атинской встречи), о литераторах героического Вьетнама — То Хоае, Нгуен Динь Тхи, То Хыу, Нгуен Куанг Шанге...

Международные встречи, заключает В. Озеров, убеждают нас в том, сколь велик авторитет создателей советской литературы, их роль в объединении прогрессивной интеллигенции современности. Конференции, семинары, симпозиумы афро-азиатских писателей сблизили крупнейших мастеров слова.

В совместных делах, в борьбе за мир познакомились и подружились казахский прозаик Мухтар Ауэзов и пакистанский поэт Фаиз Ахмад Фаиз, турецкий поэт Назым Хикмет, цейлонский романист Мартин Викрамасинге.

Книга Виталия Озерова, писателя-коммуниста, живущего большими заботами и тревогами мира, страстно пропагандирует достижения социалистической культуры, идеи интернационализма и дружбы всех миролюбивых сил планеты.

* * *

Со времени Пятой конференции писателей стран Азии и Африки прошло уже несколько лет. Но дух памятного форума, который участники благодарно называли «духом Алма-Аты», продолжает жить, озаря последующие международные писательские контакты. Он, этот дух, царил и во время недавней традиционной встречи молодых писателей стран Азии и Африки в Алма-Ате весной 1979 года. Кстати, решение о проведении таких встреч было принято именно в столице Советского Казахстана осенью 1973 года.

Приехавшие в Алма-Ату молодые литераторы более чем из двадцати стран Азии и Африки обсудили свои самые насущные творческие проблемы. Тема, избранная для обсуждения: «Молодой писа-

тель и молодой читатель» — была злободневной и актуальной. На состоявшихся семинарах шла речь об ответственности молодого писателя перед своим народом и за единство прогрессивных сил культуры.

Примечательно, что алма-атинская встреча молодых афро-азиатских литераторов проходила накануне VI Конференции писателей Азии и Африки, которая состоялась двумя месяцами позже — 27 июня — 1 июля 1979 года в столице Народной Республики Ангола. Таким образом, Алма-Ата передавала эстафету Луанде, находившейся на переднем крае борьбы африканских народов за свою национальную независимость, за расцвет своей собственной экономики и культуры.

...Наше время — время добрых надежд и открытий, сплочения всех миролюбивых сил планеты в борьбе за лучшее будущее человечества. И столица Советского Казахстана, ставшая в последние годы местом проведения крупных международных форумов, внесла и продолжает вносить весомый вклад в важное и благородное дело единения честных людей разных стран и континентов.

ПАНОРАМА КАЗАХСКОГО РАССКАЗА

Есть книги, сам принцип построения, антологический характер которых дают богатый материал для художественных сопоставлений, позволяют отчетливее очертить этапы развития того или иного жанра литературы за длительное время. К таким сборникам можно отнести изданную в Москве книгу «Белая аруана», в которую вошли образцы «малой прозы», созданные казахскими советскими писате-

лями почти за пять с половиной послереволюционных десятилетий.¹

Обозревая в статье «Рожденная революцией» сложный путь, пройденный казахской советской литературой от колыбели до зрелости, выдающийся писатель, академик Мухтар Ауэзов в свое время подчеркивал, что казахская художественная проза, не имевшая до революции глубоких традиций и крупных накоплений, сделала особенно заметные шаги вперед, предстала перед читателем всеми многообразными видами и формами. В ней появились и остро драматические, сюжетно напряженные психологические рассказы, и исторические, историко-революционные, автобиографические, социальные, семейно-бытовые, приключенческие романы, и боевые актуальные очерки. «Реалистическая проза, возникшая на основе культурных традиций мировой литературы,— писал М. Ауэзов,— творчески развивалась усилиями новеллистов и романистов. Достижения казахской прозы высоко оцениваются всей литературной общественностью братских народов нашей страны».² И сам факт выхода к все-союзному читателю сборника, знакомящего с творчеством почти тридцати казахских прозаиков разных поколений, разных творческих манер, можно рассматривать как еще одно несомненное свидетельство этой высокой оценки.

Новеллы, помещенные в начале книги, были созданы в первой четверти нашего века, а те, что завершают ее, написаны в семидесятые годы. Таким образом, перед нами предстает живой литературный

¹ Белая аруана. Казахские рассказы. Перевод с казахского. «Художественная литература», М., 1976.

² М. О. Ауэзов. Мысли разных лет. Казгослитиздат. Алма-Ата, 1961.

процесс — в его постоянном движении, утверждении, развитии своеобразных художественных традиций, которые вбирают в себя и эстетическое богатство казахского фольклора, и опыт современных мастеров пера, не стоящих в стороне от магистральной линии взаимовлияния и взаимообогащения братских советских литератур. В этом движении литературы — отражение самой жизни, поступательного хода истории, приведшего казахский народ после Октябрьской революции в единой семье народов СССР к небывалым высотам экономического, социального и культурного прогресса.

Ныне литература Советского Казахстана подобна широкой полноводной реке. Это, возможно, в общем-то привычное сравнение представляется здесь уместным хотя бы потому, что теперь на казахстанской земле рождаются не только хлебные но и, если можно так сказать, книжные потоки. Но, как известно, любая, самая многоводная река берет начало с истоков.

Среди зачинателей казахской советской литературы были Сакен Сейфуллин, Беймбет Майлин, Ильяс Джансугуров. В их творчестве — молодом, бурном, целеустремленном, активно служившем делу революции, Советской стране, нашли отражение совершенно иные, пришедшие с властью народа в далекий край гор и степей темы и сюжеты, обретал свой художественный язык, свою специфику казахский рассказ. Закономерно поэтому, что «Белую аруану» открывают вещи, которые написаны представителями этой блестящей плеяды основоположников, заявивших о себе в литературе в начале двадцатых годов. Им, как первопроходцам, выпало на долю немало: они держали в руках не только перо, но и оружие, близко к сердцу приняв гражданственно-поэтический наказ Владимира Маяков-

ского: «Надо жизнь сначала переделать, переделав, можно воспевать». Об этом ярко, взволнованно написал С. Сейфуллин в своем мемуарном романе «Тернистый путь» — первом казахском советском романе, в предисловии к которому значилось: «Молодым борцам за новую жизнь, сыновьям рабочего класса Казахстана посвящаю я от души свой скромный труд, где описано без прикрас все мною виденное и мною пережитое на тернистом пути великой перестройки мира».

В сборник «Белая аруана» включен рассказ С. Сейфуллина «Хамит встречает бандита». В его основе — острая, драматическая коллизия — в духе тех уже далеких от нас тревожных лет, когда в казахской степи утверждалась Советская власть, шла отчаянная борьба нового со старым, отживающим, но не желающим сдавать своих позиций.

Год 1921-й... В уезде, где работал герой рассказа Хамит, шныряли банды. «Охотились за коммунистами, за председателями волостных исполкомов, за всеми, кто помогал Советской власти. Тех, кто пытался сопротивляться, рубили шашками на куски». Политбюро поручило Хамиту выследить матерого бандита Кудре, разузнать все его связи с аульными богачами и поймать его. И вот они неожиданно встречаются на лесной поляне, вступают в ожесточенную схватку. Хамит безоружен, у бандита же, прикинувшегося поначалу лесником, — револьвер. Кудре удастся в конце концов вскочить на коня и скрыться. Хамит с досады ругает себя за это, но потом, вспомнив о степном богатыре Хаджи Мукане, оттаивает душой, переживает радость непокорности: «В этот момент он походил на беркута, только что победившего в единоборстве матерого волка... Оглянувшись по сторонам, он зычно, победно крикнул:

— Э-гей! Хаджи Мука-ан! Победа наша!»

Да, бандит выходит из схватки невредимым. Но концовка тем не менее звучит оптимистически: победа Хамита над сильным вооруженным бандитом — не только физическая. Это победа нового, доброго, светлого начала над силами зла, торжество новой жизни, меняющей психологию степняков, делающей их стойкими, сильными духом. Вот то, что придает небольшому и, в общем-то, локальному по своему сюжету рассказу широкое, символическое звучание.

...«Канпеске». Так на свой лад выговаривали люди степи пришедшее с новой властью в казахский аул слово «конфискация». Очень выразительная сцена этой самой «канпеске» предстает перед нами в рассказе Бсимбета Майлина «Рыжая полосатая шуба». Жена простого табунщика Несюбель по решению аулчан открывает сундуки бая Сейпена с драгоценностями и достает оттуда рыжую полосатую шубу, «которую когда-то отец Сейпена — знаменитый бий Жантай — получил в награду от самого батюшки-царя». Эту шубу при всеобщем одобрении народа надевает на себя бедняк Туткыш и, прицепив золотую медаль, торжественно вышагивает по аулу, сопровождаемый толпой женщин и ребятишек.

И когда Сейпен и его жена Жамал-байбише с семейством покидают аул, никто не сочувствует им.

Б. Майлин не упрощает картину, показывая сложность расстановки классовых сил в те годы. Байскому сынку Шермеку, например, удалось пристроиться на советскую работу, обзавестись дружками, с их помощью пролезть в партию. Но аулчане тоже начинают понимать что к чему. Характерны слова бедняка Арыстана: «У трудового народа

сейчас сознание растет, глаза открываются все шире. Он уже может отличить врага от друга. Канпеске эта вовремя началась. Многим личину сорвут, многих бедняцкий суд перетряхнет».

Пожалуй, не было ни одного крупного события в истории Советского Казахстана, которое не стало бы для казахских писателей предметом художественного осмысления. Скажем, Турксиб. Железная дорога, по которой с грохотом и свистом помчалась огнедышащая «шайтан-арба», дорога, соединившая прочными нитями своих стальных путей далекие просторы с Москвой и Сибирью, стала для степняков мостом в будущее, в огромной степени ускорила процесс социалистического обновления края.

В нее вложили свой труд тысячи и тысячи людей, и небывалое это строительство стало символом преобразенной жизни, основанной на братском сотрудничестве разных народов Советского Союза. Для многих железная дорога сделалась неразрывной частью гражданской, человеческой судьбы. Таковой явилась она и для героя «Рассказ старика», написанного Ильясом Джансугуровым вскоре после ввода Турксиба в строй. Старик вспоминает свое первое, состоявшееся еще до революции знакомство с железной дорогой, вспоминает, как некий Джумагул, влиятельный, своевольный и на редкость упрямый человек, яро противившийся всяким новшествам, заложил рельсы камнем и «ударил» белому царю телеграмму.

Старик, еще вчера трепетавший при виде паровоза, сегодня гордо заявляет, что сын его водит поезда. «Радость его безгранична. Глаза смеются, лицо сияет, грудь широка, как степь, плечи выше гор... Счастливый старик! Его сын ведет поезд. Перед ним — широкий путь... Есть чему радоваться!»

В ряду зачинателей казахской советской литературы по праву стоит имя Мухтара Ауэзова, чья знаменитая эпопея «Путь Абая» приобрела мировую славу. В сборнике «Белая аруана» его творчество представлено также широко известной читателям и кинозрителям (по ней снят одноименный художественный фильм) новеллой «Серый Лютый». Какой это тонкий, умный рассказ!

Аульный мальчик Курмаш, приручивший волчонка и ставший потом его жертвой, старая бабушка Курмаша да охотник Хасен, прикончивший, наконец, Серого Лютого,— вот и весь круг персонажей. Но — такова сила писательского мастерства. Курмаш. Светлый, человечный, трогательный образ! Мальчишка привязался к маленькому волчонку, защищал его от аульных псов, и, видя это, даже старая бабушка перестала ворчать. И затем — трагическая развязка. «Ночью труп мальчишка подобрали, унесли в аул и положили у очага в юрте.

Старая бабушка села у него в ногах.

— Жеребеночек мой,— приговаривала бабушка,— жеребеночек мой!..

И высохшие ее подслеповатые глаза не могли источить желанную слезу». Простыми, скупыми словами сказано бесконечно много, в них — цельный, своеобразный характер. И во всей повелле, кажется, нет ни одного лишнего слова. Невольно вспоминается мнение знаменитого американского прозаика Уильяма Фолкнера: «В коротком рассказе, который уступает лишь стиху, чуть ли не каждое слово должно быть абсолютно точным. Роман может быть небрежным, рассказ — нет... Сам его объем не оставляет места для неряшливости и небрежности».¹

¹ «Вопросы литературы», 1977, № 1.

Таким великолепным новеллистом выступает в «Сером Лютюм» Мухтар Ауэзов.

Безусловно, заслуживает быть отмеченным и превосходный перевод новеллы, выполненный А. Пантиелевым. К сожалению, работу далеко не всех переводчиков, как, впрочем, и сам отбор вещей, вошедших в сборник, можно признать столь же безупречными.

Точное представление о косных обычаях и нравах старого казахского аула — печальном наследии многовековой отсталости и феодализма дает очень выразительный, колоритный «Этнографический рассказ» Габита Мусрепова. Здесь сталкиваются две стихии: юная, бурная, энергичная — сам рассказчик, молодой преподаватель Боровского лесного техникума и два его студента... И — аулчане-торе. Преувеличенная чопорность жителей аула Жанбырши, куда молодые люди приехали по заданию райкома партии, чтобы выяснить, почему они долго не вступают в колхоз, снижая тем самым процент коллективизации по району, чопорность, так не вяжущаяся с бедностью, убожеством, поначалу рассмешила приезжих, но потом их взгляду открылись ужасающие мрачные картины. Вот, например, описание поздней трапезы, на которую женщины привели с собой и малышей: «Разбуженные среди ночи, дети зевали, терли глаза. Вид у них был хилый. Тот же древний закон, которого так строго придерживались в Жанбырши, повелевал хранить чистоту знатного рода, и потому браки здесь заключались почти всегда между близкими родственниками. На детей жалко было смотреть».

Прочитав подобное, зримее представляешь себе трудности и масштабность пути, который преодолел казахский народ, шагнувший из феодального строя в социализм.

Одной из счастливых примет новой жизни стало раскрепощение женщины-казашки, освобождение ее от гнета древних обычаев и предрассудков. Героиня рассказа старейшего казахского писателя Сапаргали Бегалина «Табунщица» — Халиман, красивая, ловкая, сильная девушка, дочь старого чабана Кашагана. Она и сама становится табунщицей, гордостью своего отца. В минуту испытаний Халиман проявляет себя настоящим молодцом: не теряется в сильный буран, спасает косяк колхозных коней.

Советский Казахстан — республика многонациональная, здесь живут и трудятся представители более ста наций и народностей. Понятно, что чрезвычайно характерный для нашей действительности, все более развивающийся и углубляющийся процесс интернационализации жизни советских людей не может не привлекать пристального внимания писателей республики. Конкретные проявления этого процесса, подчас очень любопытные и своеобразные, и послужили основой нескольких интересных произведений сборника, в частности, повеллы «Серый аист», которую написал Тахави Ахтанов.

...Украинская девушка Галя приезжает по направлению работать фельдшером на казахстанскую целину и попадает в колхоз, в небольшой казахский аул. Ей тут трудиться три года. Поначалу девушка в отчаянии: никто не идет к ней лечиться, да и проблема языкового барьера оказывается не из самых последних. Словом, ощущение полной своей ненужности. Однако постепенно Галя начинает втягиваться в жизнь аула. Молодой шофер Ораз, защитивший ее от назойливых притязаний нахального счетовода Башека, тракторист Сандыбек, веселый парень, недавно отслуживший в армии, распеваящий под домбру украинские, русские песни, — помогают девушке преодолеть чувство душевной скованности и тоски.

Первые маленькие успехи (в Галином медпункте появился, наконец, посетитель — худенькая морщинистая старушка, которую, правда, привел Ораз) и следом — снова неудача: единственный мужчина, пришедший в медпункт, оказался нечестным человеком, воспользовался неопытностью фельдшера и, раздобыв у нее справку, в разгар уборки бросил среди полосы комбайн и поехал на базар спекулировать мясом. Понятное дело, Гале крепко досталось за это от колхозного председателя. А тут еще увидела девушка серого аиста, такого же, как и она, одинокого, до боли напоминавшего ей родные места. Но — жизнь есть жизнь — в трудную эту минуту рядом снова оказывается Ораз: «Кто тебя обидел? Ну скажи, скажи, кто обидел?» И столько горячего участия было в его голосе, что Гале невольно подумалось: ни дать ни взять — большой смешной ребенок. Душу Гали залила волна теплоты и успокоенности. Девушка поняла — она не одинока.

«Музей-апа» Баурджана Момыш-улы — рассказ о том, как в казахскую семью, семью, где все почитают, как старшую сестру рассказчика, Убианну — Музей-апа, входит новое. Ее сын Июньбай уезжает в город Темиртау, женится там на русской девушке Зое (Музей-апа зовет ее Зейнеп или Зоя-джан). Добрая, но несколько консервативная (в смысле народных обычаев — ревностная хранительница их), бабушка сначала ворчит, недовольная тем, как у молодых идут семейные дела, а потом привязывается и к своей келин-невестке и к внуку Аскару.

Имя Музей-апа звучит здесь символично: действительно, музейны в Убианне не только ее наряды, но и ее жизненные представления. Однако, прежде всего, она бесконечно добра и в глубине души благожелательна к молодым. И это чувство в конце концов побеждает. А рассказано обо всем

этом писателем с мягким юмором, с помощью метких характерных бытовых деталей и черточек, что делает повествование естественным и убедительным.

Отличное знание жизни, особенностей национального характера, глубокое проникновение во внутренний мир простого человека — все это присуще рассказу Саина Муратбекова «Кусен-Кусеке».

Кусен... Традиционный для казахской литературы образ чабана, неспешное, пожалуй, чуточку даже бесстрастное описание его повседневных забот и хлопот. Но — сколько чистоты, доброго лукавства в этом образе! И — никакого приукрашивания. Кусен делает свое дело добросовестно, честно и бескорыстно. Конечно, чабану тоже не безразлично, как оценивают его труд. Ему даже снится орден, который сулит (совсем не из чистых побуждений) заведующий овцефермой, покрывающий мошеннические деяния ловкача-продавца Бисултана. При этом заведующий хитро играет на чувстве самолюбия чабана. «Кусен с первой минуты понял, что заведующий ублажает его с какой-то целью, и все же ему приятно услышать про орден и про то, что его овцы жирнее, чем у Билиспая, извечного соперника в трудовом соревновании».

И — опять правда жизни: стычка Кусена с взбалмошным чабаном Туртали, в пьяном угаре пальнувшим из ружья и, по счастливой случайности, лишь легко ранившим в руку юного Боздака.

Наступает желанное время — Кусен едет на центральную усадьбу за расчетом. Потом он три дня ходит там по родичам, щедро одаривая всех. А когда возвращается домой, к жене Айше и ребятишкам, в растерянности шарит у себя по карманам, собирая оставшиеся помятые рубли и трешки.

Тяжело, мучительно Кусену. Но... «Он вспомнил

счастливые лица родичей, когда те получали его подарки, и успокоился».

«Да, в другой раз получать деньги поедет Айша», — решил он окончательно.

«Да ну их, машины, красивые дома. С голода мы не помрем, значит, и сетовать нечего. Зато я угощал людей, и они меня угощали. А что еще важнее этого? Пожалуй, нет ничего важнее».

Айша поворчала для порядка, потом смилилась.

Хорошо, покойно стало на душе у Кусена. До слуха его донесся протяжный певучий голос жены:

— Ай-о-у!

Он понял, что Айша вышла сторожить отару, и тут же уснул.

Много дает нашему сердцу и уму непритязательный этот рассказ. Никакой назидательности, зато сколько глубины, умного подтекста. Сама собой приходит на память удивительно тонкая, мастерски написанная новелла В. Шукшина «Сапожки», где перед нами тоже — прекрасный характер простого парня-шофера, непоказное богатство его души, человеческая теплота и благородство.

В критике высказывались различные точки зрения насчет того, как относится к Кусену сам автор. Так, И. Крамов во вступительной статье к книге отмечал, что «простосердечный Кусен нравится ему (С. Муратбекову — *Ил. Ш.*) со всеми странностями своих привычек».

С И. Крамовым полемизировал К. Глухов. В статье «Реализм казахского рассказа» (журнал «Простор», 1977, № 4) он писал, что, напротив, С. Муратбекову далеко не все нравится в его герое, что писатель не одобряет, в частности, безрассудного мотовства чабана, когда он за три дня, по существу, растрчивает то, что заработано за год,

оставляя для семейного бюджета лишь жалкие денежные остатки. Мне кажется, ближе к истине здесь все-таки автор вступительной статьи, видящий в Кусене национальный характер, выписанный без патетики и декларативных интонаций. Это в самом деле так, а известно, — где нет патетики и деклараций, там больше простора читателю для собственных суждений и выводов. Действительно, особая прелесть рассказа — в лукавой и добродушной улыбке, с какой смотрит С. Муратбеков на своего героя. А что касается нравственных оценок, право же, пусть их делают сами читатели.

Тематика рассказов сборника очень широка, и трудно, да, впрочем, вряд ли необходимо, говоря о них, раскладывать все по полочкам. Стоит только отметить, что немало страниц книги закономерно занимают новеллы, построенные на, так сказать, коренных, неотъемлемых реалиях казахского быта. Например, «Кокпар». Так называется написанный на русском языке, талантливый, захватывающий рассказ Такена Алимкулова. Тут все — в цель, никакой «пробуксовки»: точно, выразительно, немногословно. Всего лишь несколько слов, а в них — конкретные приметы времени: «Гнедой трехлеток Тарбана, доставшийся ему в прошлом году, когда раскулачивали бая, пасся на привязи возле кукурузного поля». Что называется, всякое лыко в строку: «Он был исконным дехканином. Но другие дехкане ухитряются всегда обедать с мясом. Иногда на овощи его выменивают, но чаще отбирают у богатых кочевников на козлодраниях. Поработают в поле до обеда, а потом, когда жара спадет, едут на кокпар».

Кокпар (козлодрание) — казахская национальная конная игра. Она по сей день популярна в народе, и на праздниках чабанов джигиты с увлечением демонстрируют в ней свою удаль и мастерство.

Но для героя новеллы Т. Алимкулова, воссоздающей суровую атмосферу первых лет после революции, кокпар — вовсе не развлечение, а способ утверждения своего человеческого достоинства. Писателю удалось показать совершенно неожиданную коллизию, включенную в широкий социальный контекст.

Само же действие, мотивировка поступков героя, мир его мыслей, раздумий — все это, как мы отметили, связано с кокпаром. Отец Тарбана, Назар, был непобедимым в конных состязаниях. И погиб он — это было давно — во время кокпара, на глазах у маленького Тарбана.

Проходят годы, и наступает нежданно-негаданно час испытаний для самого Тарбана. Угроздило же его в тот день пустить в расход единственного серого козла! Бывает такое: никогда раньше Тарбан не занимался кокпаром, а тут вдруг захотелось ему потренироваться в козлодрайи. Но — встретились двое, и — начался настоящий, не шуточный кокпар. Из ближних аулов прискакало много других наездников. Тарбан в пылу азарта сшибается на своем быстром, но малоопытном гнедом трехлетке с крапчатым конем знаменитого Амирбека. Вскоре ему приходит мысль — уступить своего гнедого ловкому сопернику, чтобы тот ушел на нем с добычей от погони. Так и сделали. Амирбек пулей понесся под гору, подхлестываемый ожесточенной погоней. Они не могли допустить такого позора, чтобы вышел победителем конь дехканина. Гнедой, остушившись на полном скаку, гибнет. А уцелевший Амирбек отдает Тарбану своего — крапчатого.

Великолепна концовка: «Тарбан ехал медленно и долго. Сквозь вечерний сумрак до него по-прежнему доносились стремительные пробежки лошадиных копыт и крики людей, все еще раздирающих злосчастную козлиную тушу. На душе у него было

несколько грустно — он лишился сегодня единственного коня и единственного козла.

И все же именно сегодня он впервые вкусил от жизни нечто такое, что могло примирить его с этими утратами...»

Да, добрый конь для казаха извечно был предметом заветных мечтаний и особенной гордости. Недаром опоэтизированный еще древними степными певцами и сказителями образ крылатого коня тулпара стал одной из первостепенных фигур казахского фольклора.

Название повеллы Бердибека Сокпакбаева «Белая Грива» подсказывает, что речь в ней пойдет о коне. Это — история о красавце-чалом, прозванном юным табунщиком Сулейменом Белой Гривой. Огромного труда стоило табунщику укротить этого «дьявола», с которым не могла справиться целая погранзастава. И какое же ликование было у Сулеймена, его старшего брата Карима (который намеревался вначале зарезать коня из-за непригодности его к седлу) и других колхозников из колхоза имени Абая, когда чалый первым пришел к финишу на байге (скачках) во время праздника животноводов!

После тоя и байги слава о чалом разнеслась далеко окрест... И кто знает, сколько бы еще призов завосвал Белая Грива, сколько хищников затоптал бы своими стальными подковами!.. Но — такова жизнь — чего только в ней не бывает. И рассказ обрывается на щемящей, печальной ноте: Карим на короткое время доверяет чалого заполошному продавцу сельпо Коргасбаю, а тот бешено мчится на нем по улице. Столкновение с грузовой машиной — и... «Виновник этого несчастья Коргасбай стоял тут же, целый и невредимый. Он даже не ушибся, падая с коня. У чалого же было разбито предплечье.

Увидев Сулеймена, Белая Грива жалобно заржал, в больших умных глазах его показались слезы. Тугой ком подкатил к горлу Сулеймена, и он зарыдал, обняв голову тулпара...»

Среди других рассказов о животных (правда, сознаю недостаточность и условность такого определения: подобное повествование так или иначе, прямо или косвенно — в иносказательных новеллах — непременно проецируется на человека) хотелось бы особо выделить давшую название сборнику «Белую аруану» Сатимжана Санбаева. Тема рассказа вечна, как жизнь: привязанность к исконным местам, верность родному краю.

Маленьким верблюжонком увозит в свой аул белую аруану (одногорбую верблюдицу, славящуюся высоким надоем молока) из Мангыстау, края меловых гор, старик Мырзагали. Он холит ее и лелеет, но — все напрасно. Аруана уходит от него — и раз, и второй, и третий. Последний раз уходит уже ослепшей, в сопровождении своего светло-серого верблюжонка. Неизвестно, что помогло ей безошибочно выбирать дорогу. То ли долгими месяцами вязала она в памяти этот кратчайший, но опасный путь через солончаковые озера и бугры, то ли вел ее могучий инстинкт. И аруана гибнет, рухнув в глубокий овраг. А Мырзагали — так успел он привязаться к ней... Судьба его самого — тоже не безоблачна: за плечами — война, покалечившая его, единственная дочь Макпал родилась, когда он уже ушел на фронт, а после войны детей у них с Асимой больше не было. Может, потому так прикипел он душой к белой аруане, которую привез на попутных машинах в Макат из Мангыстау, где гостил у далеких родичей.

И вот — этот тяжкий удар...

«Они ушли уже далеко, когда сзади раздался

приглушенный, будто из-под земли, крик Шолака. Мырзагали не обернулся. Надо идти быстро и потому, что Асима не будет спать,— думал он.— Она не будет спать, пока мы не вернемся.

Впереди, раскачиваясь на длинных прямых ногах и спотыкаясь, шел верблюжонок. Он тонко и жалобно плакал и оглядывался вокруг, еще не понимая, что навсегда потерял мать. Он шел послушно перед конем, потому что впереди лежала его родина, лежал аул, где он родился и куда он будет убегать отовсюду, как и мать, которая всю жизнь добиралась до Мангыстау».

Очень близко перекликается с запоминающейся этой новеллой «Кербугу — серый олень» Оралхана Бокеева. Там — зов природы и здесь, там — отношение человека к животному (и животных к человеку) и тут — тоже. И, надо сказать, тот и другой рассказы написаны прекрасно, читаются с начала до конца с неослабевающим интересом, интригуют, держат в напряжении; рассказ вялый, вымученный, искусственный так читаться, конечно, не может. Недаром И. Крамов справедливо увидел связь между «Серым Лютым», «Белой аруаной» С. Санбаева и «Кербугу» О. Бокеева.

Знакомясь с творчеством названных писателей (и их собратьев по перу), писал критик, можно с полным правом говорить о развитии давних литературных традиций, берущих начало в творчестве Б. Майлина (простота, реалистичность изображения) и в художественных достижениях М. Ауэзова (условность, близость к языку иносказаний). И С. Санбаев, и О. Бокеев верны этому последнему принципу художественного освоения действительности, идущему от преданий и легенд, что накладывает на повествование отпечаток некоей вневременности. Тут самое главное — акцентировка, нравственный

вывод, к какому приводит автор современного читателя. Сравнение повеслл «Белая аруана» и «Кербугу» под данным углом зрения оказывается не в пользу последней. У С. Санбаева человек выступает как носитель доброго, разумного начала; явно слышится здесь осуждение слепого следования природному инстинкту, приведшему к гибели верблюдницы. В рассказе же «Кербугу», который, в противовес И. Крамову критик К. Глухов в вышеупомянутой статье не без оснований расценивает как насквозь антропоморфичный, представляющий собой отступление от достижений нынешней казахской прозы, осуждению подвергается человек, некий абстрактный «человек на все времена», способный лишь нанести непоправимый вред «братьям нашим меньшим». В самом деле, очень сомнительно, чтобы какой-нибудь, даже замороженный живостью и красотой слога читатель, с пониманием отнесся бы в наши дни к подобной идее...

Еще одна тема, волнующая многих казахских писателей разных поколений,— тема аула и города, их, употребляя привычное слово, взаимовлияния, весьма своеобразного и неоднозначного, порой трудноуловимого. Скажем, сборник был бы, конечно, неполным без рассказа «Кумыс» Дукенбая Досжанова. Кумыс для казахов — нечто такое, без чего, как без воздуха, нельзя обойтись. Существует культ приготовления кумыса; разных людей угощают целебным напитком из разной посуды. В аулах есть женщины (в рассказе это — женге (тетка) Актате), которые посвящены во все тайны его приготовления, все тонкости «кумысного церемониала», берегут их и старательно обучают им молодаяк, чтобы те потом так же заботливо передавали их следующим. Вдохновенное слово об этом тонком, передающемся из поколения в поколение искусстве —

вот что такое рассказ Д. Досжанова. И еще это рассказ об искусных народных умельцах, хвала их волшебному мастерству. Герой рассказа Далабай любит в юрте Актате выточенной из цельного бруска джиды чашей. Эта чаша — память умельца Акадиля, знаменитого в присырдарьинских краях краснодеревщика. Мастера давно уже нет в живых, а искусство его живет. Ювелиры, чеканщики, резчики по дереву на склоне жизни создавали удивительные вещи и дарили их друзьям и уважаемым людям. Они не хотели, чтобы вместе с ними умирало, исчезало редкое творение их рук и таланта, и стремились распространить в народе свое дивное искусство. В этом выражалась страстная тяга к жизни. Лишь бессмертные оставляют после себя негнущуюся память.

Далабай приезжает к тетушке Актате из аула центральной усадьбы колхоза на далекий (расстояние дневного пути) отгон в урочище Каратау за турсуком кумыса. Об этом просит его тяжело больной дядя. Актате, священнодействуя, наполняет турсук, укладывает в хурджун — переметную суму. Прихватывает она и драгоценную вещь — маленький, с ладонь, узкогорлый кувшинчик. Из него когда-то пил кумыс прославленный акын Нартай. К вечеру Актате с Далабаем приезжают в аул. Но... поздно... Актате, рыдая, выливает кумыс на свежую могилу дяди.

«Прошли годы. Я часто тоскую по дяде, по Актате и ее кумысу. Тот далекий драгоценный сосуд — маленький кувшинчик из красной джиды с единственным сучком-глазком и теперь еще, говорят, бережно хранится в инкрустированном ларце белой тетушки».

Мысль о том, как важно передавать следующим поколениям исконные обычаи, осваивать и разви-

вать традиции народного художественного творчества, искусства и ремесел, словом, почтительно относиться к тому, в чем находит свое отражение социальный, нравственный, культурный опыт народа,— эта благородная мысль сближает и роднит рассказ Д. Досжанова с замечательной пьесой драматурга Иона Друцэ «Птицы нашей молодости», а добрую Актате — с сердобольной, отзывчивой молдавской тетушкой Руцей...

А в «Песне одинокой домбры» пишущей по-русски Алтыншаш Джагановой снова слышится переключка с Василием Шукшиным. Вспомним его деревенских жителей, вспомним, как неуютно чувствуют они себя, очутившись в большом шумном городе. Вот и в «Песне...» — старик жил когда-то в ауле душа в душу с женой, которая была ему настоящей опорой. Родился сын. Жена всего три дня болела и померла. Горе подкосило старика: стал слепнуть. В город ехать не хотел. Но сын (он как-то в один из приездов привез невестку, и свадьба проходила не так, как могло быть, и осталось от этой свадьбы тяжелое чувство; да и молодые вскоре уехали в город), — сын настоял и взял старика из аула. С тех пор живут вместе, в квартире на пятом этаже. Внучка (голос, как у отца его — певучий, гортанный) да старая домбра, какую смастерил он сам когда-то, — вот только это и скрашивает однообразные дни. Старик деликатный, ни слова осуждения не сказал он сыну и невестке. И в общем-то осуждать их вроде бы не за что. Сын — ученый человек, его даже на обед привозят в красивой блестящей машине, невестка тоже работает где-то по научной части (все время фигурирует в рассказе Липси — не то свинка, не то крыса, над которой проделывают какие-то опыты и о которой постоянно печется невестка). Когда Липси погибла, для не-

вестки это было настоящим ударом, что вызвало у старика чувство горькой обиды. А как точна эта фраза: «Старик еще подумал, что сын и невестка всегда хотели делать так, чтобы ему было удобней, лучше, но всегда у них получалось наоборот. Он никогда не говорил об этом».

Был сын моложе — больше тянулся к нему, был проще. Чаше всего вспоминали об ауле, вздыхали о матери, о развалившемся старом родном доме. «Теперь не стало и этого. С годами появилась между ними пропасть. Она казалась очень легко преодолимой, если произойдет откровенный разговор, но никто для сближения не делал первого шага». Порой стариком овладевало отчаяние, захлестывали щемящие душу воспоминания, и он брал в руки старую рассохшуюся домбру... Была бы жива жена, все было бы по-другому. А теперь — размышляет о жизни своей... «Но он, слава богу, прожил, никого не убив, никого не обокрав, никого не обманув, не услышав ничьих проклятий.

Так за что, за что теперь он наказан?»

Но... Тут, рядом, внучка. «Он прижал к себе внучку, доверчивую, хрупкую, беззащитную, плоть от его плоти, и зашептал, забыв обо всем:

— Слава богу, тысяча и одно тебе благодаренье...»

Старик всматривается в туский, узорчатый коврик из кошмы, вышитый женой. Оставила для внучки... оставила ведь, с чего учиться! Вот живет он, а чему научил?... Старик взял свою домбру. «Он играл и сам не знал, что именно... Но он играл, и ему казалось, что это самое важное. Это то, что должна запомнить внучка».

Критиками верно замечено: там, где казахские писатели касаются дилеммы город — аул, светотени бывают распределены неравномерно, и чаще всего

радужные тона достаются на долю аула. Вообще город и его многоэтажная жизнь — пласты, пока еще недостаточно освоенные казахской литературой. Как только действие в романах, повестях, рассказах переносится в городскую квартиру, институт или общежитие, слог скучнеет, утрачивает живость и красочность. На шумных улицах, среди пестроты и суеты герои произведений, выходцы из аула, обычно чувствуют себя неуютно, хотя, отдавая дань ностальгии, все же стремятся в город, который властно манит их к себе, — такова диалектика и логика современной интенсивно урбанизирующейся жизни. Поэтому не удивительно, что городу, о котором литераторы пишут без особого энтузиазма, они тем не менее в общем-то не предъявляют каких-либо конкретных обвинений. Аулу же, где тоже не все гладко и безоблачно, где возникают порой острые конфликты, — светлые краски щедро отпускаются писателями в силу своеобразной инерции, а скорее — из-за трудности глубинного раскрытия этих самых сложных человеческих конфликтов.

В рассказе Калихана Искакова «Запах молока» молодой человек Аян после долгого отсутствия приезжает в родной аул Шолоктам. Здесь с ним ничего особенного не происходит. В ауле — бабушка, дедушка — старики, которых он очень любит. Детство его прошло в трудные военные годы. Бабушка тогда делала все, чтобы прокормить внуков, работала на колхозной маслобойне. Минуло немало лет. Аян стал горожанином, живет в Алма-Ате, имеет высшее образование.

Аян, умный, высокоэрудированный (намеком сказано, что он критик, известный в литературных кругах), окунувшись в родную стихию, с досадой думает о многих бесталанных пишущих парнях из столицы.

Приходит время Аяну возвращаться. Он зовет с собой в город бабушку. Но это — невозможно: ведь время невосвратимо. Важно то, что с детства в Аяне заложено высокое нравственное начало, та память о былом, которая жива и не иссякает в нем. «И только то, что вошло в тебя с первых дней твоей жизни, то дорогое, что с тобой, пока ты идешь и дышишь,— поможет тебе. Детство, бабушка, запах молока... Вечный запах молока...»

Семь лет не был в родном краю и Науан из рассказа Магзома Сундетова «Аул в песках». Все здесь оставалось как прежде, без перемен. Стояли и стоят две-три приплюснутые к самой земле мазанки с плоскими крышами, и поодаль в стороне — одинокая юрта, вот и весь аул. Тишина... Науану (ему 34 года, женат, двое детей, кандидат наук, научная работа — «похожа на рытье колодца иглой») давно не открывался такой простор. «Но что-то мешало отдаться веселящему чувству высоты и полета, связывало». Это «что-то» — память об Айше, девушке, которую он любил. Она стала врачом и погибла в аварии. С Айшой Науан вместе учился, вместе уехал в город, но поступили там в разные институты. Встречались... Потом неожиданно — разрыв.

С тех пор Науану не было дороги к Айше, а позор жжет душу огнем. Науан женился. «Ему казалось, так быстрее забудется прошлое, затянется старая рана. Но даже зажившие раны ноют. И после смерти Айши боль не исчезла, только становилась как бы отдаленней с каждым годом.

И здесь, в ауле, снова растревожила ему душу Жанар, младшая сестра Айши, милая девушка, которую он помнил совсем еще ребенком.

Науан в смятении спрашивает ее:

— Ты меня бы простила? Каждый может споткнуться...

— Нет, не простила бы.

Голос Жанар долго еще звучал у него в ушах.

«А ты, родная земля?— думал он, стоя у окна вагона,— ты бы простила?» Степь неслась мимо. Казалось, она отвечает Науану долгим, испытующим взглядом и, отвернувшись, бежит прочь. Колеса поезда тоже выстукивают: «Не простила б, не простила...»

Как видим, понятие «родная земля» для персонажей рассказов ассоциируется прежде всего с аулом, степью, перед которыми они ощущают некий изначальный, подсознательный «комплекс вины». Читатели вправе ожидать здесь от литераторов республики поисков новых, нетрафаретных ходов и поворотов, более важных и сложных коллизий, какие ежедневно подсказывает наша полная динамизма, богатая событиями и свершениями жизнь.

Есть в книге также вещи иной фактуры и стилистики: характерный для творчества Ануара Алимжанова, активно разрабатывающего историческую тему, рассказ «Трон Рудаки»— о великом поэте Древнего Востока; «Самый счастливый день» Абиша Кекильбаева, тяготеющего к тонкому, глубоко психологическому письму, раскрывающему оттенки душевного состояния героев; «Песня цикады» Шерхана Муртазаева, в которой слышны юмористические нотки, чего, кстати, почти не встретишь у других новеллистов; «Лунная ночь» Кабдеша Жумадилова — своего рода казахская интерпретация темы «отцов и детей»; «Серебряный страх» Акима Тарази, где интересно передано мироощущение современного чабана; «Шойынкулак» Дулата Исабекова, чье дарование, впрочем, гораздо полнее, нежели в новеллах, раскрылось в нескольких повестях, известных как казахским, так и русским читателям; «Мезгиль» Сафуана Шаймерденова — история жизни

человека, родившегося в суровой просторной казахской степи и названного в память о ней Мезгилом, — история, рассказанная им самим; и, наконец, «Спи спокойно, ревизор!» Оразбека Сарсенбаева — рассказ, который критик З. Кедрина относит к публицистическому этюду¹.

В конце сборника дан довольно объемистый словарь казахских слов и выражений. Однако на страницах книги встречается немало и таких понятий, что даны без объяснений: долбай, бельсенды с курджумом, Азраил, лашык, кстау, соил (все примеры — из «Рассказа старика» И. Жансугурова).

В целом же книга «Белая аруана» оставляет самое благоприятное впечатление. Она дает широкую картину движения, развития казахского рассказа.

Деятельное участие в процессе накопления реалистического мастерства принимает молодое писательское пополнение, что также наглядно предстает перед читателями, открывающими для себя немало новых имен самобытных прозаиков, создающих вместе с их старшими братьями по перу яркую панораму жизни республики.

Казахский рассказ, вошедший многими интересными страницами в летопись исторического прошлого и нашей современности, стал заметным художественным явлением в жизни братских советских литератур.

¹ З. Кедрина. Дорогу осилит идущий (о поисках молодой прозы Казахстана). «Литературная газета», 16 марта 1977 г., № 11.

ПОЭЗИЯ ПЕРЕВОДА

Переводная поэзия занимает среди продукции издательства «Жазушы» довольно скромное место и — по закону контраста — уже одним этим выделяется в пестром книжном потоке. Подобных книг вряд ли и может быть много: перевод поэзии — дело сложное, существует же и такое крайнее мнение — стихи, дескать, вообще непереводимы. Как бы там ни было, спрос с этих сборников особый. Казахским читателям, свободно ориентирующимся как в родной, так и в русской речевых стихиях, интересно встретить строки любимого поэта и сопоставить с оригиналом их новое художественное воплощение. А те, кто читает по-русски, тоже не без волнения ждут нового знакомства, сознавая, что если предлагается книга иноязычного автора, стало быть, она этого заслуживает. Тем более, что имена видных казахстанских поэтов, на каком бы языке они ни творили, сейчас в республике у всех «на слуху».

Прекрасно, когда книга оправдывает возлагаемые на нее надежды, честь тут и хвала автору и его полномочным представителям — переводчикам, которые своим кропотливым трудом придают конкретное содержание понятию «взаимовлияние и взаимообогащение братских литератур». Этот характерный для нашей многонациональной литературы процесс взаимовлияния и взаимообогащения все более расширяется, укрепляются творческие связи художников слова разных республик. Так, тесное плодотворное содружество издавна связывает казахских поэтов с литераторами Москвы и Ленинграда. У истоков благородной традиции культурного шефства стояли П. Кузнецов, Вс. Рождественский, К. Алтайский и другие поэты, кто впервые сделал достоянием

всесоюзного читателя стихи Абая и Джамбула, давно уже ставшие хрестоматийными.

Среди переводчиков казахской поэзии — немало без преувеличения знаменитых мастеров пера, каждый из которых обладает своим поэтическим именем, неповторимой художественной манерой. Целое созвездие переводческих имен можно встретить, например, на страницах книги избранных стихов и поэм одного из старейшин писательского цеха республики Халижана Бекхожина «Вершины» (издательство «Жазушы», Алма-Ата, 1976), с которой бы и хотелось начать этот разговор.

«Вершины» — плод раздумий автора о жизни, о родной земле, о времени, о себе. В книгу вошли произведения, написанные за три десятилетия и в большинстве своем хорошо известные. Поэтому оговорюсь, что не ставлю своей задачей давать оценку стихов и поэм сборника как таковых, а делаю попытку внимательнее рассмотреть некоторые из них с точки зрения примененной переводческой «техники». Такой взгляд представляется небесполезным и в известной мере поучительным, тем более, что, как отмечено во вступительном слове к сборнику, Халижану Бекхожину всегда «везло» на переводчиков. Его произведения приводили к русскому читателю, как правило, не холодные ремесленники, а творческие друзья, хорошо чувствующие своеобразие бекхожинской поэзии. Читатель встретит среди переводчиков «Вершин» Ярослава Смелякова и Михаила Луконина, Павла Шубина и Владимира Цыбина и ряд других хороших и разных русских литераторов, «талантливо и бережно пересадивших сад поэта на почву русского языка» (П. Косенко). У каждого из них можно найти в книге великолепные работы, какими представляются, на мой взгляд, стихотворения «Голос России», «Ветер», «Сестре»,

переведенные соответственно Я. Смеляковым, Е. Винокуровым, П. Шубиным, а также лирико-философские миниатюры цикла «Из стихов последних лет».

И все же, если говорить о частностях... Да стоит ли обращать внимание на мелочи?— возможно, спросят иные. Но не зря ведь давно замечено, что в поэзии все важно, мелочей тут не существует. Впрочем, как уже сказано, вовсе не ради мелочных придирок затеян этот разговор. А для того, чтобы, оттолкнувшись от трех переводных книг — Х. Бекхожина, Т. Абдрахмановой и З. Шукурова (о них речь ниже), взглянуть на вещи шире, поговорить о некоторых характерных проблемах переводческого дела применительно к нашей казахской поэзии.

Вернемся, однако, к «Вершинам». Переводы здесь осуществлены шестнадцатью поэтами — российскими и казахстанскими. Многие из них, при разной степени одаренности, повторяю, представляют собой яркие творческие индивидуальности, что неизбежно накладывает отпечаток на все их творения — оригинальные и переводные. И вот все они собраны под одной обложкой, так сказать, коллективно представляя нам богатое, многогранное творческое наследие известного казахского поэта.

Х. Бекхожин — представитель того немногочисленного отряда поэтов, у которых эпос преобладает над лирикой. Это нашло отражение в книге избранного: основное место в ней занимают поэмы. Критика отмечает, что они, как правило, имеют четко выраженный сюжет, что поэт обладает умением создавать глубоко разработанные человеческие характеры, ставить их в положения, вызывающие острые, социально значительные конфликты.

Интересна легендарная по своему настрою поэма «Аксак кулан», искусно переведенная В. Соколовым. Действительно, великолепна глава «Кюй»,

превосходны по выразительности, динамизму, эмоциональному накалу описания победного «буйного кюя отваги и тревоги, перед которым оказался бес-
сильным свирепый властелин Джучи-хан, расправы его над кудесницей-домброй, триумфа «волшебного певца» Тумы, спасшего народ чудодейственной силой своего искусства. Емок эпилог, вместивший рассказ о бесславной гибели грозного хана и полные философичности строки о поступательном движении жизни и истории, о памяти человеческой, о счастливой судьбе новых, современных поэту поколений:

Остался кюй. Когда, как вихрь, куланы
Несутся степью, сея стук копыт.
Кюй, как стрела батыра, в Джучи-хана
Летит, в народной памяти летит.
Я рассказал почти что слово в слово
То, что хранил в легенде отчий край.
О, степь моя, печальный сказ былого
Теперь на песню радости меняй!

Интонационный строй поэмы, как можно судить по приведенным строкам, — свободный, почти «разговорный». В стихе все «на месте», все подчинено переводчиком авторскому замыслу. Естественно обилие глагольных рифм: поэма основана на четком, динамично развивающемся сюжете. Даже такие простые и, в общем, сами по себе не очень удачные созвучия, как «успел — разглядел», «слепил — не находил», «торопился — заблудился», «внимал — понимал», «подливали — отвечали» — несут свою службу передачи действия и поэтому не режут слух, не раздражают. В этом смысле характерна также строфа:

И выходили из оврагов деды,
И осушали детские глаза
Его домбры жалеющей напевы
Там, где промчалась ханская гроза.

Созвучия здесь традиционнейшие, но, будучи покорены чувством, глубиной мысли, мы их как бы не замечаем.

Словом, перевод В. Соколова заслуживает похвалы. Но безоговорочно признавать его эталонным, на мой взгляд, все-таки нельзя. Стих поэмы местами как бы «пробуксовывает» из-за того, что, убаюканный его равномерным течением, переводчик зачастую не утруждает себя поисками наилучшей, нешаблонной рифмы, а использует в разных вариациях давно уже многими апробированные словесные наборы типа: «домбра — добра», «кюйши — души — камыши».

А возьмем такие строки:

И беркутом, чьи когти в гриве тучи,
Хан отделился плавно от земли...

Или:

До пожелтевших берегов Сейхуна
Достиг ли кюй певца, что спас народ?

Думается, что никакими ссылками на необычность, специфичность строя стихотворной речи нельзя оправдать очевидную неуклюжесть и, скажем прямо, безграмотность подобных конструкций...

Другая поэма — «Сказание о соколе» — посвящена пламенному поэту-гражданину, одному из зачинателей казахской советской литературы Сакену Сейфуллину. Переведенная поэтом В. Цыбиным, она, к сожалению, не производит цельного художественного впечатления. Есть тут тоже удачные, отлично сложенные строфы, где найден «стиль, отвечающий теме», где меткими, весомыми, метафоричными словами рисуется образ лирического героя — человека неукротимой энергии и силы духа:

Мы растерялись — нам такое в диво.
Лишь старый бард запел неторопливо

Под старую, певучую домбру.
Взлетела песня,
Облаков касаясь.
Сидел Сакеи, как сокол,
В такт качаясь,
Расправив крылья на большом ветру.

В любой поэме, как и в музыкальном сочинении, многое зависит от финала, от того, насколько верны, звучны последние аккорды. У переводчика «Сказания...» не хватило дыхания довести песню до конца на нужной ноте. Вряд ли можно признать удачной концовку, в которой со знаменитым грохочущим сейфуллинским «экспрессом» — символом индустриальной мощи социалистической державы — сравнивается обычный, прозаический трамвай. Завершается русский вариант поэмы тоже необязательными, и потому и маловыразительными, при всей их внешней патетике, словами:

И мчит экспресс
Туда, где синь и рань
Где пароходы,
Поезда
И стройки...

Что касается рифм, то многие из них, вроде «слезы — розы», «печаль — даль», «век — человек» также совсем не блещут свежестью и новизной.

Долгое время вершиной творчества Х. Бекхожина была его первая, получившая широкое признание поэма «Мария, дочь Егора». Автор посвятил ее Марии Егоровне Рекиной, заслуженному деятелю искусств Казахской ССР, творцу популярной в народе песни «Дударай». Русскому читателю эта поэма представлена в переводе Н. Сидоренко. У нее — своеобразный эпический настрой, не похожая на другие вещи сборника широкая повествовательная

интонация, своя, типичная для казахской поэзии, система рифмовки. И поначалу радуешься, когда открываешь для себя новые грани дарования автора и переводчика, окунаешься в свежую лексическую, стилевую стихию. Но радость эта вскоре начинает меркнуть, потому что и Н. Сидоренко, как ни прискорбно, густо уснастил перевод целыми наборами затертых рифменных штампов. По-моему, стоит их тоже привести, чтобы стало ясно, что для сборника это — сущая беда: ведь количество, как известно, непременно переходит в качество. Итак, снова, будто в калейдоскопе, мельтешат бесконечные: «даль — печаль», «век — человек — навек», «души — хороши — камыши», «глуши — души — камыши», «камыши — души — тиши» и так далее, и тому подобное. А шаблонная рифма, тут уж нигде не деться, неизбежно влечет за собой и шаблонное содержание.

На поэмах «Часовой Кремля» и «Лебединая песня» особо останавливаться нет нужды: В. Цыбин и В. Антонов перевели их более или менее ровно. Но при этом, естественно, каждый трудился в своей манере, и, сопоставляя оба перевода, оказывается затруднительным, если не сказать — невозможным, обнаружить в них какие-либо сходные типические черты, присущие именно бекхожинской поэзии. Между тем, они у Х. Бекхожина, как и у каждого большого мастера, само собой разумеется, есть.

Теперь позволю себе обратиться к лирическим стихам. Прав автор предисловия: многие из них (об этом выше говорилось) «на почву русского языка» пересажены действительно талантливо и бережно. Вот «Голос России» — признательное слово автора Абаю, подарившему казахам пушкинскую музу, гимн незакатному «солнцу русской поэзии», кто

«с песней любви и стихами свободы в казахскую степь, словно к братьям, пришел». Вот «Ветер» — прекрасная, полная экспрессии миниатюра, в которой весь поэт, с его неумной молодой энергией, жизнерадостностью, беспредельной сыновней любовью к родной земле. По-своему обращается он к Петру, словно к некоему живому существу:

Я ревную к тебе
 Степь родную мою.
 Шапку лишь заломлю—
 Бей в лицо с высоты!
 Степь родную люблю
 Я сильнее,
 Чем ты.

Подобные мотивы отчетливо слышны и в «Степном лете», хорошо переведенном Ю. Дружининой.

Как своеобразное поэтическое кредо автора можно рассматривать три программных стихотворения: «С поэзией иду», «Все позабыть» и «Так жизнь идет». Переводчик В. Цыбин тонко уловил и передал их глубокую раздумчивость, философичность. В них — опыт умудренного годами поэта, чье призвание — быть «горнистом у эпохи». И как напутствие себе и другим звучат эти призывные строки:

Пройдя сквозь суету,
 сквозь кутерьму,
Ты знай,
 что этот путь не повторится
На перекрестьях века, потому
Для жизни
 должен ты воспламениться!
 (*«Так жизнь идет»*)

Гражданская, интернационалистическая сущность поэзии Бекхожина отчетливо выражена в стихах «Двадцать шесть» — о легендарных бакинских

комиссарах (перевод М. Луконина), в «Элладе» — с посвящением славному сыну греческого народа Яннису Рипосу (перевод В. Цыбина), в щемящем, полном горечи «Не плачь» (из прощального письма Патриса Лумумбы), переведенном О. Сулейменовым.

Все эти стихи в русском варианте, бесспорно, хороши. Но, будучи преемственны тематически, они в то же время абсолютно несхожи с точки зрения формального воплощения. Видимо, опять-таки оттого, что над подстрочниками трудились поэты, чей творческий почерк настолько своеобразен, индивидуален, что это не могло не отразиться и на переводах. Вот и не удивительно, что одна вещь звучит типично по-луконински, а другая в такой же мере — по-сулейменовски, и, не зная авторства, можно принять эти стихи за их собственные. Конечно, это идет от искренней увлеченности бекхожинскими строками, зажегшими в душе поэтов огонь неподдельного вдохновения. И в связи с этим интересно, мне кажется, вспомнить пример с переводом стихов Расула Гамзатова.

Русский читатель знает его поэзию, в основном, благодаря высокопрофессиональным поэтам-переводчикам Я. Козловскому и Н. Гребневу и такому, не похожему на других, художнику слова, как В. Солюхин. Они (и в этом вряд ли кто-нибудь усомнится) так же глубоко увлечены, покорены обаянием творчества Р. Гамзатова, и огонь их вдохновения ярко вспылал от гамзатовского поэтического очага. Но при всем том, а вернее — именно поэтому они, мобилизуя при переводе глубоко самобытных произведений аварского поэта свои излюбленные художественные средства, всегда руководствуются «чувством соразмерности и сообразности» и нигде не заслоняют от нас самого автора, не раство-

ряют» его в собственной поэтической индивидуальности.

Природа творчества — и переводческого дела тоже — необычайно сложна, и если здесь я позволяю себе высказать некоторые соображения о переводах М. Луконина и О. Сулейменова, то, подчеркиваю еще раз, делаю это не для каких-то упреков, — они были бы несправедливы, — а для того, чтобы на примере конкретного сборника стихов Х. Бекхожина показать, что компоновка подобных книг далеко не всегда бывает по-настоящему продуманной и целесообразной. Имею в виду разнокалиберность, пестроту, художественную неравноценность составивших книгу переводов. В самом деле: в оглавлении рядом с названиями стихотворений и поэм значатся, как мы знаем, фамилии шестнадцати переводчиков; некоторые из них представлены всего-навсего одним стихотворением. К тому же стихи писались и переводились в разные годы и потому отделены друг от друга солидной временной дистанцией.

Географическая и временная отдаленность, да и сама специфика писательского труда, индивидуального по своей природе, не позволили многим переводчикам выйти за локальные рамки своей конкретной переводческой задачи, соизмерить свою работу с тем, что сделано другими, заранее увидеть и принять в расчет вещи, которые, так сказать, создавались параллельно и, в конце концов, оказались собранными под одной обложкой.

О другом сборнике — «Ключ» Турсынхан Абдрахмановой, вышедшем у нас в переводе московской поэтессы Татьяны Кузовлевой, хотелось бы — в плане нашего разговора — сказать, что он, при всей своей доброкачественной основе, тоже далеко не однороден. Правда, тут нет такой пестроты и раз-

нобая, как в «Вершинах». Нет хотя бы потому, что у переводчика отсутствовали творческие конкуренты. Говоря фигурально, «судить» его приходится по законам, им самим над собой признанным. А «законы» эти в данном случае достаточно строги, ибо за Т. Кузовлевой прочно закрепилась репутация активного пропагандиста современной казахской поэзии. Немало лет прошло уже со дня выхода в Алма-Ате сборника стихов казахских поэтесс «Весенний дождь», где под несколькими переводами значилось ее имя. Еще тогда начал складываться их с Т. Абдрахмановой «творческий тандем», плодом совместной работы которого и явилась эта книга.

Запоминаются искренние, естественные по интонации стихи о дорогих сердцу поэтессы женщинах-современницах. Говоря словами аннотации, они «покоряют чуткостью, простотой, поэтическим откровением». Тут все верно. Однако немало и таких стихотворений, где простота граничит с упрощенностью. Недаром С. Я. Маршак, размышляя о поэтическом труде, предупреждал: «Нужно бояться обманчивой легкости, когда плуг скользит по поверхности». А разве не о подобном «скольжении» опять же свидетельствуют обесцененные, застывшие рифмы «печаль — вдаль», «светом — рассветом», «небыль — неба», «луч — певуч», которых всякий уважающий себя поэт и переводчик, казалось бы, должен бояться пуще всякой напасти? У Т. Кузовлевой (и, как мы видели, не только у нее одной) слово «домбра» всенепременно рифмуется с «добра», а «дыша», конечно же, с — «душа». А в стихотворении «Слияние с морем» она без тени стеснения заимствует весьма «оригинальную» словесную «находку» — составную рифму «стихи я — стихия», известную еще с прошлого века.

Приходится так много говорить об этом потому,

что в стихах все взаимосвязанно: шаблонные рифмы рожают шаблонное содержание, что, в свою очередь, приводит к применению неких стандартизированных поэтических ходов, выхолащенных «средств художественной выразительности». А отсюда, понятно, — полное подчас обезличивание, невелировка переводимых стихов, а то и искажение их изначальной сути.

В 1976 году русские читатели впервые получили возможность познакомиться с творчеством казахского писателя Зейнуллы Шукурова, автора книг прозы и поэзии. В сборнике с лаконичным, по-весеннему свежим и радостным названием «Солнечно...» (издательство «Жазушы») четверо переводчиков представили на суд читателей его лирические стихи и две небольшие поэмы.

Не касаясь пока детально качества самих переводов, отмечу, что в общем — и это самое главное — книга позволяет, мне кажется, отчетливо разглядеть черты духовного облика ее лирического героя — человека большой внутренней энергии и стойкости, неиссякаемого жизнелюбия и оптимизма. При этом мы почти не встретим открыто пафосных, декларативно-патетических строк (исключение в этом смысле, пожалуй, составляют поэмы, о чем разговор — далее); равным образом нет здесь и легкомудрого бодрчества. Поэт знает истинную цену и горечи, и настоящего человеческого счастья. Оно — в борьбе, трудной, повседневной борьбе со всем, что мешает людям ощущать себя счастливыми. А это может быть и душевная черствость, не позволяющая откликаться сердцем на чужую беду, как на свою собственную, и неумение по-настоящему ценить все великое и простое, что связано у нас со словами «родина», «мама», «любимая», «жизнь»...

Читая стихи З. Шукурова, приобщаясь к миру его мыслей и чувств, словно очищаешься, светлеешь душой, и как-то трудно при этом представить себе читателя, у которого такая естественная, доверительная поэтическая интонация не встретила бы ответного отклика. Солнечный день, первый подснежник, улыбки друзей, заветное слово любимой, ясность детских глаз — обо всем этом поэт не устает говорить негромко, задушевно и в то же время с глубокой внутренней экспрессией. Могут сказать: Подснежник, друзья, любимая... Да это же обыкновеннейший, традиционный круг поэтических тем, которых не касается редко какой стихотворец. Ну что ж, дело ведь не в темах, а в том, как они решены. Бывает, и о самом заветном порой говорится походя. Не так у З. Шукурова. У него, как правило, нет слов-пустышек, каждое — прочувствовано, пережито и выношено... С детства Зейнулла Шукуров тяжелым недугом был прикован к постели. Долгие месяцы и даже годы был вынужден проводить в больнице. Но болезнь духовно не сломила его, не сделала страдальцем и скептиком. Он взял в руки перо, свое верное оружие, взял, чтобы до последнего своего дня с ним не расставаться.

Далеко не простая задача стояла перед переводчиками шукуровской поэзии — сохранить ее «лица необщее выражение», дать читателю возможность полнее ощутить ее не лежащий на поверхности пафос, высокую нравственную наполненность и гуманистический настрой. И мы с удовлетворением говорим теперь: в самом существенном и верном — воссоздании черт лирического героя — многосложная задача оказалась переводчикам по плечу. Зримое всего они, эти черты, проступают в стихах о том, как вера в высшие нравственные ценности человека — дружбу, любовь и преданность матери, Ро-

дине — помогают лирическому герою преодолевать любые трудности и испытания судьбы.

Как и у каждого человека, был у поэта на земле свой заветный уголок, своя «малая родина», с которой и начиналась для него великая Советская Отчизна. И для того, чтобы выразить свои сокровенные мысли и чувства по этому поводу, З. Шукуров несклад емкие, жаром любви опаленные слова:

Всем сердцем люблю я простор наш степной,
Где плещет Аральское море волной.
Как сын, я люблю тебя,
Родина-мать:
Ведь часть твоя —
Край тот отцовский, родной.
На Дальнем Востоке,
В Сибирском краю —
Повсюду Отчизны черты узнаю.
Куда ни поеду —
В Москву, на Кавказ —
Все радует,
Трогает душу мою.

(«Моя Родина», перевод В. Селеменова)

А вот другое, не менее искреннее, красноречивое признание:

Родина! Хоть мне степное мило,
Ты ко всей земле любовь вскормила.
Как и ты, всю душу распахнул я
Для вселенной, для людей, для мира.

(«Клятва», перевод Ю. Окунева)

Высокая причастность к делам и свершениям своей могучей многонациональной Отчизны бесконечно раздвигала для поэта рамки его повседневного бытия, вызывала обостренное ощущение современности, давая мощный творческий импульс.

Привлекают в сборнике стихотворения камерного звучания, более локальные по своей теме, запе-

чатлевшие различные, подчас мимолетные движения души, связанные с восприятием картин и явлений природы, искусства, с воспоминаниями детства. Эту сугубо личную тематическую струю лирики З. Шукурова особенно удачно воссоздают переводы стихотворений «Осень», «Снятся мне во сне...», «В первый раз», «Недоумение», «Вечером», «Сосна в горах», «Разбитая домбра», «Баллада о Гульсим».

К сожалению, менее всего в сборнике удались поэмы «Платочек», «Человек и судьба», переведенные О. Постниковым. Слов нет, поэму переводить гораздо труднее, чем стихотворение. Здесь, на большой площади, все укрупняется, становится выпуклее, рельефнее. Разумеется, нагляднее обнаруживают себя при этом и переводческие огрехи — монотонность ритма, стилистическое и лексическое однообразие — все, что обезличивает произведения и сводит на нет авторскую индивидуальность. Именно так произошло у О. Постникова.

Возьмем поэму «Платочек». Содержание ее вкратце таково. Лирический герой в годы Великой Отечественной войны участвует как солдат в суровых боях с врагом на берегах Волги. На его глазах гибнут товарищи, тяжелое ранение получает он сам. И в трудную минуту светлым напоминанием о родных краях служит ему платочек, красочно вышитый любимой девушкой по имени Назым. Печать некой вторичности несут на себе уже сами реалии: бой, танки, огонь — и, с другой стороны, далекий дом, любимая, подаренный ею платочек. Сразу же приходит на ум популярное: «Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих».

И все-таки дело не в этом: реалии, так сказать, заданы переводчику заранее, и он обязан оперировать ими. Но вот каково художественное «сцепление» этих реалий, насколько извлекаемый из этого

эффект соответствует оригиналу, словом, какова образная, ритмико-интонационная, лексическая стихия поэмы — все это, безусловно, в значительной мере зависит от профессионального чутья, вкуса и способностей переводчика.

Если в лирических стихах, о которых мы уже говорили, явственно слышится голос автора, с живыми, только ему присущими интонациями и оттенками, то сказать подобное о поэме никак нельзя. Напротив, здесь назойливо звучат словно взятые напрокат ритмы, совершенно к тому же не свойственные казахскому стиху:

Стояли мы насмерть...
Стояли
Насмерть за каждую пядь.
Друзей боевых теряли
И отомстить обещали,
И продолжали стоять.

Переводчик, сам того не замечая, цитирует тут лермонтовское: «И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали...»

А следующие строки:

Сила жестокая, сила суровая
Мнет и корежит, взрывает, крушит.
Солнце,
от черного дыма багровое,
В ужасе над горизонтом кружит, —

ритмически буквально повторяют хрестоматийное некрасовское:

Славная осень. Здоровый, ядреный
Воздух усталые силы бодрит...

Такие произвольные заимствования вызывают абсолютно ненужные в данный момент и лишь ме-

чатлевшие различные, подчас мимолетные движения души, связанные с восприятием картин и явлений природы, искусства, с воспоминаниями детства. Эту сугубо личную тематическую струю лирики З. Шукурова особенно удачно воссоздают переводы стихотворений «Осень», «Снятся мне во сне...», «В первый раз», «Недоумение», «Вечером», «Сосна в горах», «Разбитая домбра», «Баллада о Гульсим».

К сожалению, менее всего в сборнике удались поэмы «Платочек», «Человек и судьба», переведенные О. Постниковым. Слов нет, поэму переводить гораздо труднее, чем стихотворение. Здесь, на большой площади, все укрупняется, становится выпуклее, рельефнее. Разумеется, нагляднее обнаруживают себя при этом и переводческие огрехи — монотонность ритма, стилистическое и лексическое однообразие — все, что обезличивает произведения и сводит на нет авторскую индивидуальность. Именно так произошло у О. Постникова.

Возьмем поэму «Платочек». Содержание ее вкратце таково. Лирический герой в годы Великой Отечественной войны участвует как солдат в суровых боях с врагом на берегах Волги. На его глазах гибнут товарищи, тяжелое ранение получает он сам. И в трудную минуту светлым напоминанием о родных краях служит ему платочек, красочно вышитый любимой девушкой по имени Назым. Печать некой вторичности несут на себе уже сами реалии: бой, танки, огонь — и, с другой стороны, далекий дом, любимая, подаренный ею платочек. Сразу же приходит на ум популярное: «Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих».

И все-таки дело не в этом: реалии, так сказать, заданы переводчику заранее, и он обязан оперировать ими. Но вот каково художественное «сцепление» этих реалий, насколько извлекаемый из этого

эффект соответствует оригиналу, словом, какова образная, ритмико-интонационная, лексическая стихия поэмы — все это, безусловно, в значительной мере зависит от профессионального чутья, вкуса и способностей переводчика.

Если в лирических стихах, о которых мы уже говорили, явственно слышится голос автора, с живыми, только ему присущими интонациями и оттенками, то сказать подобное о поэме никак нельзя. Напротив, здесь назойливо звучат словно взятые напрокат ритмы, совершенно к тому же не свойственные казахскому стиху:

Стояли мы насмерть...
Стояли
Насмерть за каждую пядь.
Друзей боевых теряли
И отомстить обещали,
И продолжали стоять.

Переводчик, сам того не замечая, цитирует тут лермонтовское: «И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали...»

А следующие строки:

Сила жестокая, сила суровая
Мнет и корежит, взрывает, крушит.
Солнце,
от черного дыма багровое,
В ужасе над горизонтом кружит, —

ритмически буквально повторяют хрестоматийное некрасовское:

Славная осень. Здоровый, ядреный
Воздух усталые силы бодрит...

Такие произвольные заимствования вызывают абсолютно ненужные в данный момент и лишь ме-

шающие восприятию ассоциации. Вот какую злую шутку может сыграть с переводчиком поспешность в работе, недостаточная эстетическая чуткость и взыскательность!

Добавим к этому также досадную статичность отдельных описаний, обилие общих мест и констатаций типа: «С танками биться — тяжелое дело...», бросающихся в глаза красотей, вроде «тюльпанов, облитых росами» и «очарованно дремлющих тополей»...

Большую идейную, смысловую, эмоциональную нагрузку призвана, очевидно, нести поэма «Человек и судьба», которую автор посвятил Николаю Островскому. Такое посвящение закономерно: поэта, человека крепкого духом, привлекали сильные характеры, волевые натуры. В поэме Николай Островский изображен в один из наиболее драматичных моментов своей короткой, исполненной героизма и мужества жизни, когда он, потеряв из-за жестокой болезни зрение, огромным усилием воли заставляет себя продолжать работу над своим получившим впоследствии мировую известность романом и добивается победы.

Справедливости ради нужно сказать, что над этой короткой поэмой переводчик трудился более внимательно, чем над предыдущей: здесь нет столь очевидных просчетов. Но и к удачам поэму «Человек и судьба» при всем желании отнести невозможно, ибо воспринимается она прежде всего как иллюстрация, а не художественное открытие. Впечатление такое, будто прочитано стихотворное переложение одной из глав биографии творца романа «Как закалялась сталь». Переложение неплохое, но где же голос автора? Его не слышно...

Я остановился на трех стихотворных сборниках, ибо в них, на мой взгляд, нашли отражение неко-

торые негативные черты, типичные для современной переводческой практики. Очевидно, эта «болезнь» возникла не вчера и распространена не только в пределах казахстанского литературного региона. Избавиться от нее разом, видимо, тоже не просто. Залогом изжития застарелого «недуга» может служить лишь высокая гражданская и творческая честность переводчиков с языков советских национальных литератур, их стремление к глубокому постижению «буквы и духа» переводимых произведений, неустанное совершенствование профессионального мастерства. Без всего этого немыслимо в наши дни восхождение к вершинам нестаряющего искусства поэтического слова.

ЛИТОЕ, ВЕСОМОЕ СЛОВО

Предыстория этого сборника стихов казахстанского поэта Гафу Каирбекова знаменательна. Летом 1974 года писатели нашей республики сердечно принимали у себя братьев по перу — участников Дней советской литературы в Казахстане. Среди гостей, известных поэтов, прозаиков, критиков, драматургов находился секретарь правления Союза писателей СССР, ленинградец Олег Шестинский. Он проявил активный интерес к творчеству алма-атинских коллег. Ему довелось впервые ознакомиться с подстрочным переводом стихов Гафу Каирбекова, которые привлекли его современностью звучания, сплавом гражданственности и проникновенного лиризма. Тогда-то и возникла мысль сделать их достоянием русского читателя. И вот уже в 1975 году книга «Тургайские волны» вышла в издательстве «Жазушы».

В предисловии к сборнику переводчик пишет: «Несколько раз бывал я в Казахстане, и каждый раз Казахстан открывался передо мной какой-то новой чертой. Мощь казахской земли и красота ее как бы сливались в моем воображении, образуя неразрывное целое.

И когда я впервые стал знакомиться со стихами Гафу Каирбекова или, точнее, с подстрочным переводом их, я подумал, что он поэт необыкновенно современный. Когда рукопись его книги была мной прочитана целиком, мне показалось, что я совершил еще одну большую поездку по Казахстану и вобрал в себя самые разносторонние впечатления от жизни народа».

Действительно, читая сборник, словно путешествуешь по неоглядным просторам республики. Об этом говорят уже сами названия стихотворных циклов: «В объятиях Алатау», «Тургайские мотивы», «На просторах Сарыарки»...

Открывают книгу стихотворения «Крылатые годы» и «Разговор с Родиной», в которых выражено поэтическое кредо автора. Он размышляет «о времени и о себе», о высоком призвании поэзии («...жизнь поэта — это знамя») и, полемизируя с теми, кто склонен считать стихи забавой, заявляет:

...Родина оценит
только слово гражданина.
И останется надолго
та лишь песня в нашей
жизни,
чей творец исполнен долга
к милой матери-отчизне.

Сама по себе мысль не нова. Как известно, тема назначения поэта и поэзии имеет давнюю историю в нашей литературе, однако важно, что процитированные строки — не декларация, не очередная дань

литературной традиции. «Слово гражданина» явно звучит в большинстве стихов сборника. Говоря о циклах, вошедших в книгу, хотелось бы в первую очередь назвать «Тургайские мотивы». Тургай... Здесь поэт родился, здесь в годы войны подростком начал свой трудовой путь. И все происходящее в отчем крае, понятно, волнует и радует его по-особому. Перемены же здесь произошли воистину небывалые. Недаром, если раньше название родного аула ассоциировалось у Г. Каирбекова с звонкоголосым пением птиц (Торгай в переводе — жаворонок) и с полынным ароматом степи, то теперь символами края, некогда пустынного, а ныне преобразенного советскими людьми по воле Коммунистической партии, стали хлебные колосья и подъемные краны, что «орлами парят в голубой вышине» над новостройками одного из самых молодых областных центров республики — Аркалыка. Об этом с душевным подъемом пишет автор в стихотворении «Рождение Тургайской области»:

О славный перелом в судьбе
Тургайской молодой земли!
Его не кто-нибудь тебе,
а коммунисты принесли!

Верные закону дружбы и братства, плечом к плечу трудятся на строительстве представители многих национальностей и, описывая созданный их совместными усилиями новый современный город, поэт с радостью отмечает:

...и словно сошлись все
республики наши
на площади новой моей.
(«На площади Аркалыка»)

Находит Г. Каирбеков душевные слова и для

других городов Казахстана, с которыми связаны вехи его жизненного пути. Так, в цикл «Сарыарка» включены стихи «Привет Кустанаю» и «Утро Кокчетава».

Выделяется своей ярко выраженной лирической тональностью раздел «Осенние бусинки» — поэтические раздумья о жизни, молодости, природе и человеке, о неудержимом беге времени. Порою автор поднимается здесь до значительных философских обобщений. Такова, например, маленькая — двадцать четыре строки — стихотворная новелла «Красный угол — в глубине от входа», которая напоминает чудесные миниатюры Расула Гамзатова, особенно сдобренная мягким юмором заключительная строфа:

Но мы ясно понимаем сами,
путь земной оглядывая свой,
что почит, нам давшийися
с летами,
можно удержать лишь
головой...

Тема покоренной целины — одна из главных в творчестве Г. Каирбекова последних лет, нашла свое наиболее полное воплощение в «Поэме о миллиарде», завершающей собой книгу. Это небольшое и емкое произведение построено в соответствии с законами жанра.

Во вступлении к поэме автор говорит о своей нелегкой ответственной задаче («О хлебе петь — высокий труд»). Решая ее, поэт ведет рассказ в разных временных планах, заглядывая в глубины истории, когда «терзали орды землю-мать, чтобы сгубить казахский род, аулы сжечь и скот угнать», и в годы своего детства и юности, тяжелые военные годы. Вспоминая их, он искренне признается:

И сердце в глубине тех дней,
где жили горько и светло,
где черный хлеб всего
вкусней, —
там вдохновение нашло,
чтобы воспеть святой ломоть,
суровый хлеб моей страны...

Да, поэт помнит тот «суровый хлеб» и тем более ликует его голос («Мне радость в песню не вместить, настолько радость велика»), когда он пишет о сегодняшней казахстанской целине, — уже не однажды давшей Родине по миллиарду пудов зерна. И здесь снова и снова вдохновенно звучит тема дружбы советских народов, благодаря которой стали возможны такие свершения. Людям разных национальностей, ковавшим победу на хлебных полях Казахстана, адресует Г. Каирбеков свои полные признательности строки:

Спасибо, братья,
что в степях
вы с нами не смыкали глаз;
за дружбу, что не напоказ.
за помощь, что не на словах,
благодарю я нынче вас.

Земля выковывает человеческий характер, делает его под стать самой себе — мужественным, негибимым, верным.

Рассматривая художественные достоинства стихов сборника в целом, было бы неверно утверждать, что все они на высоте. Некоторые из них носят следы поспешности переводчика, который в стремлении к оперативности кое-где, к сожалению, поступился качеством своей работы. Этим, прежде всего, можно, пожалуй, объяснить такие слабые, неточные строки, как «и шуршат проворные машины только

что умытой мостовой», «шли под листовую вырезной, соприкасались наши плечи», рифмованные прописи: «И станет ясно, что по сути смысл проходящей жизни всей в том, чтоб тебя любили люди и чтобы ты любил людей», привычные рифмы «дорога — порога», «заря — даря», неорганичные для казахского поэта старославянские слова — «длань», «знаменѧ», «очи». Крайне неудачна также строфа одного из стихотворений цикла «На просторах Сарыарки»:

Лишь поднялись на перевал.
Со скал Атбасарщины
Обрушился гремящий вал
На смолкшие машины.

Просчеты, конечно, досадные. Однако они не могут перечеркнуть труда Олега Шестинского, который подошел к своей работе с немалой душевной отдачей, с любовью к казахской земле, к творчеству ее поэта — товарища по перу. «Тургайские волны» — еще один скромный, но искренний вклад в благородное дело укрепления писательских контактов, взаимодействия братских советских литератур.

Тема целинного подвига глубоко увлекла Гафу Каирбекова, стала для него дорогой и заветной.

За последние годы он написал несколько циклов стихов и две многоплановые поэмы «Миллиард-дастан», «Звездные судьбы». Их герои — люди казахстанской земли, представители двух поколений целинников. Дружба советских народов, помогающая преодолевать любые трудности, — вот что согревает сердце поэта, наполняет его строки гордостью и вдохновением.

Продолжая традицию творческого сотрудничества, поэму «Звездные судьбы» перевел на русский

язык давний друг Г. Каирбекова Олег Шестинский.
Целина... Символ ее — хлеб и песня, литое зерно
и литое, весомое слово.

ЗЕМЛЯ РОДНАЯ — КАЗАХСТАН

Передо мной — аккуратный, с любовью и вкусом оформленный поэтический сборник: «Мой Казахстан» (Стихи казахстанских немецких поэтов. Составители Г. Бельгер, Б. Пчелинцев. «Жалын», Алма-Ата, 1978).

Вдумчиво поработали составители и редакторы: сборник снабжен компактным, но емким предисловием, о каждом из авторов дана краткая биографическая справка. Стихи — в большинстве своем — отличаются глубиной содержания, разнообразием формы, свежестью, точностью поэтического языка...

Но сначала — небольшой экскурс в историю советской немецкой литературы, занимающей достойное место в ряду братских литератур нашей многонациональной Родины.

Истоки литературы советских немцев глубоки. Сложным, неоднозначным был путь ее развития. В нелегкой борьбе зародилось и укреплялось в ней революционно-демократическое направление, и, как отмечается в предисловии, одной из главных причин ее долгого становления была та, что до Великой Октябрьской социалистической революции «русские» немцы находились в таком же бесправном, униженном и угнетенном положении, как и все малые народности бывшей Российской империи. Поэтому в высшей степени символично и знаменательно, что подлинное начало, зарождение и даже появление самого термина «советская немецкая литература»

связаны с победой Великого Октября. И естественно, в своих произведениях советские немецкие прозаики и поэты раскрывают темы, характерные для всей многоязычной литературы нашей страны, воспевают мирный, созидательный труд советских людей, спаянных чувством семьи единой.

Таковы ведущие темы стихов сборника «Мой Казахстан», составленного из произведений семнадцати авторов. В него вошли, в основном, казахстанские немецкие поэты, а также те, чье творчество непосредственно связано с нашей республикой.

Первой помещена в книге подборка стихов одного из ведущих советских немецких поэтов и переводчиков Фридриха Больгера. Читая их, словно совершаешь путешествие во времени и в пространстве, ощущаешь эпический размах и величие свершений наших современников, проникаешься чувством гордости за свою Советскую Родину. В стихотворении «Мой Октябрь» поэт пишет:

Его своим я назову по праву:
Он с колыбели мне завещан был.
Дорогу к жизни
Мне Октябрь открыл.

Эти строки можно было бы поставить эпиграфом ко всему сборнику: тема Октября, принесшего народам желанную свободу, вдохновляет и других поэтов разных поколений, пишущих о нем так же ярко и восторженно. Их стихи — о Родине, о родном крае, о социалистических идеалах — не голая декларация, как заявляют иные зарубежные критики и разного рода «советологи», а выражение искренних чувств, неизбывной любви, выстраданной в суровых испытаниях, доказанной годами борьбы и созидания. В том же стихотворении автор говорит об этом сжато и впечатляюще:

Немало лет должно было пройти,
чтоб отрешиться мы могли от груза
лихих годин,
чтоб не был он обузой
на нашем —
нами избранном! — пути.
Мы радостей и горя — повидали!..
Мы ленинской дорогой верно шли
и — первыми! —
Стальные корабли
отправили в космические дали.
Октябрь!
Тебе—стихотворенье это!
Твоим пылает пурпуром заря!
Займись, земля, багрянцем Октября—
Зарей коммунистической Планеты!

В высокопатриотичном стихотворении «У могилы Неизвестного солдата» Ф. Больгер находит запоминающиеся, проникнутые душевным трепетом слова благодарности павшим в лихую военную годину, гордостью их «бессмертным, небывалым подвигом».

О дружбе советских народов слагает вдохновенные поэтические строки Карл Вельц. Родился он на Волге, но хорошо знает нашу республику, живет в Целинограде. Его книга, вышедшая в свое время в Алма-Ате, озаглавлена «Страна родная».

Новые стихи поэта являются как бы продолжением этого цикла. Выделяется среди них стихотворение «Мой Казахстан», давшее название сборнику. Всего шесть компактных строф, но как много удалось в них выразить! Особая «поэтическая концентрация» каждой строки позволила автору кратко рассказать о былом, восславить наше замечательное Сегодня.

«Республика родная», — пишет К. Вельц о дорогом его сердцу крае, к которому обращается со словами сыновней благодарности и любви:

О Казахстан!
Будь счастлив твой народ!
Бок о бок с ним,
Навек сердечно дружен,
немецкий брат мой
счастливо живет.

Послушай песню—
вольная,
степная,
звенит все громче в небе голубом:
«Цвети, моя республика родная!
Мой Казахстан!
Ты мой родимый дом!..»

«Казахстанская тетрадь». Так озаглавлен стихотворный цикл молодого поэта Роберта Вебера. Перед нами предстает здесь широкая, светлая панорама жизни республики, и создается она из интересных стихотворных этюдов. Поэт ведет нас в город шахтеров Караганду, на строительство железнодорожной линии Балхаш — Саяк, в хлебородные целинные степи, на известный всему миру Байконур, приглашает в путь по вольным казахстанским дорогам, у которых «одно направление — устремлены они в будущее: презрев поле тяжести, отрываются от земли и поднимаются лентами вслед за полетом космических кораблей». Показывая все это, поэт ощущает себя сыном нашей могучей социалистической Отчизны и в прекрасном стихотворении «О корнях» признается: «Родная мне улица бесконечна... В освежающем ветре дружбы наших народов моего родимого дерева крона вычерчивается абрисом нашей огромной страны. Шумят, полные счастья, пестрые листья кроны — в многоголосице единого хора!..»

Читатели встретят в сборнике также произведения Розы Пфлуг, живущей и работающей в Павло-

даре. Ее стихи, рассказы, переводы регулярно публикуются на страницах советской немецкой периодической печати. Недавно в издательстве «Казахстан» увидела свет книга ее стихов «На родной ниве». В переводе поэтессы прозвучали на немецком языке стихи С. Капутикян, О. Берггольц, А. Твардовского, А. Яшина, Дж. Мулдагалиева. Поэтические миниатюры Р. Пфлуг отличаются красочностью, в них явственно обозначен своеобразный казахстанский колорит. В стихотворении «О чем поет домбра», например, создан образ аксакала, который в задумчивости ударяет по струнам домбры, и душа его «тихо и проникновенно поет на вечерней заре о чудесной стране, от сна пробудившейся, крылами взмахнувшей орлиными на высоких ветрах Октября,— о стране, похожей на птицу, полет свой стремящей к солнцу,— об одной из пятнадцати птиц с названием «Казахстан». В «Празднике великого урожая» поэтесса восхищается подвигом казахстанских хлеборобов, самоотверженным трудом приумножающих богатство Родины.

Запоминаются в книге «Мой Казахстан» и стихи камерного, философского звучания, образцы пейзажной, любовной лирики. К произведениям подобного «настроя» тяготеет, в частности, Герберт Генке, чьи поэтические творения можно увидеть во многих сборниках и антологиях. Подборку его составили стихи «Мечты», «Сравню я с полетом...», «Спелая рожь», «Праздник меда», «Я над бумагой долго копался...». В последнем автор размышляет о великом таинстве и волшебстве поэзии, о том, что «самые весомые слова лежат в ладонях солнца и природы».

Нужно сказать и о большой заслуге московского переводчика Бориса Пчелинцева, который с достоверностью, мастерством и вкусом представил рус-

скому читателю отличные по творческой манере создания каждого из семнадцати авторов (лишь несколько стихотворений сборника даны в переводах других поэтов). Б. Пчелинцеву свойственна высокая поэтическая культура, полифоничность, искусное воссоздание образного и интонационного строя переводимых стихов. Исключение составляют только два малоудачных, на мой взгляд, перевода: «Буря» Н. Ваккер, где ритм вступает в разлад с драматической основой вещи, и «Ты — моя муза и моя беда» Г. Генке, построенного на чересчур знакомых, «запетых» созвучиях.

Лабораторией дружбы народов образно называют Советский Казахстан. Как и везде в нашей стране, здесь радостно и полнокровно живут люди более ста национальностей. А счастливая жизнь рождает и счастливые песни.

КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ...

Издательство «Жалын» озаглавило один из своих последних поэтических сборников вполне конкретно: «Для вас, влюбленные» (Составитель Дм. Снегин). Ее аннотация лаконична: «Эта книга о любви, о чувстве высоком и вечном. Любовь требует от человека перерождения, она помогает в становлении личности. Об этом пишут казахстанские поэты, имена которых известны в республике. Стихи, предлагаемые юному читателю, взяты из лучших книг этих авторов».

Суховато и — не совсем точно. Вернее было бы: «взяты лучшие стихи», ибо пока на счету у многих авторов лишь по первой, а потому, как знать, лучшей или не лучшей, книге.

Правда, сразу же за скупым уведомлением, как традиционный контраст, следует мягкая, лиричная графическая заставка художника А. Гурьева, чьи рисунки очень оживляют томик, изданный в общем-то чересчур скромно.

Хотя, надо заметить, дело, конечно, не в объеме и оформлении. Выпускает же, скажем, издательство «Молодая гвардия» серию «Компас» — для тех, кто вступает в жизнь, — компактные книжки в тонкой и тоже весьма непритязательной обложке. Не так давно в этой серии появился сборник «Пять тысяч любимых строк», составленный из выбранных школьниками стихотворений русских и советских поэтов. Еще раз подчеркну: книжка внешне неброская, но зато с каким вкусом, с каким уважением к молодому читателю она составлена! Здесь и толковое предисловие от редакции, и прекрасная статья «Перед поэзией — немного в прозе» известного чтеца, народного артиста РСФСР Дмитрия Журавлева, не сухая констатация, а обращенный к юному современнику живой, в добром смысле слова пристрастный разговор о природе поэзии, потребности в ней человеческой души. Радостно читать: «Наша поэзия — созвездие блистательных имен... Море неисчерпаемых поэтических богатств! Пусть в этой книге вы найдете лишь капли этого моря, но и в них всеми цветами радуги отражается великое солнце поэзии».

Тут уж не станешь скользить по стихам равнодушным взглядом.

Однако почему, начав с нашего, казахстанского сборника, я так подробно остановился на московском? Да потому, что все познается в сравнении, а уровень нашей книгоиздательской культуры позволяет сегодня ориентироваться именно на весьма до-

стойные образцы. Побольше бы только требовательности, художественного чутья, заботы о воспитании верного читательского вкуса. Особенно — когда речь о читателе молодом. Особенно — когда о любви, «о чувстве высоком и вечном».

Так вот — о стихах. Их немало. Сборник «Для вас, влюбленные» знакомит с лирикой тридцати поэтов разных поколений. Хотя знакомство это, конечно, поверхностное: как правило, одна-две вещи. Лучшие? Увы, не всегда, — лишь отвечающие теме. У составителя московской книжки было больше простора: заданная тема его не сковывала, и читатель получил действительно вершинные поэтические творения. Это и понятно: поэзии чужда тематическая узость. Как и в жизни, в ней все тесно переплетено, взаимосвязано, да и в самой природе поэтического образа заключены смысловая емкость, глубина и многозначность, помогающие поэту, а значит и нам «дойти до сердцевины, все познать — и в мире, и в себе».

Вот, думается, надежный критерий, которого полезно придерживаться и в нашем разговоре.

Не будет преувеличением или красотой сказать, что поэзия, как мудрый и добрый наставник, открывает нам целый мир.

Любовью дорожить
 умеете,
С годами дорожить
 вдвойне.
Любовь — не вздох
 на скамейке
И не прогулки при луне.
Все будет: слякоть и
 пороша.
Ведь вместе надо жизнь
 прожить.

написал поэт, и уже не одному поколению читателей эти строчки дали, может быть, больше, нежели иные пространные ученые трактаты.

Понятно, шедевры появляются не каждый день. Но забывать о созданных человечеством прекрасных образах нынешним творцам художественных ценностей, право же, не стоит. В наш просвещенный век образцы эти хорошо известны, живы в памяти читателей и служат для них своеобразным нравственно-эстетическим эталоном.

С таких позиций подойдет, видимо, юный современник и к адресованной ему книжке стихов с маркой молодежного издательства «Жалын» («Пламя»). Каким предстанет перед ним в поэтическом преломлении наш сложный, многомерный мир? Что он увидит о чувстве прекраснейшем, высоком и вечном? Не разочаруется ли, ощутив вместо жара некогда пылавшего костра поэзии лишь затухающее тление отработанного шлака?

Авторов сборника вроде бы не упрекнешь в бедности эмоций.

Ах,
какая была теплынь!..
Обжигала
дыханье
попынь!..
И сейчас еще на губах
Эта вязкая горечь..
Ах,
Как плескались твои
глаза! —
До сих пор передать
нельзя, —

воскликает, например, Владимир Гундарев, извлекая, впрочем, из сего волнующего воспоминания довольно-таки блеклую сентенцию:

...Полиняла полынь
давно,—
Запах слышится все равно.

Искусственно накаляет страсти, без меры расходуя «поэтический порошок», Тамара Мадзигон:

Люби! Люби! Отчаянной
дыши,
Гляди невероятными
зрачками...

И обещает далее этакий немислимый трюк:

Здесь, на краю гибели
души,
Взлетѣшь над пеной и над
облаками.

Есть, наверное, своя мудрость в давно знакомой бесхитростной песенке: «О любви не говори — о ней все сказано...» Впрочем, кое-кто из наших поэтов тшится любыми способами опровергнуть подобное утверждение. В частности, Татьяна Фроловская. Ну разве кто-нибудь до нее отзывался о любви и любимом вот так:

Вы здесь, вы —
мимолетный звук,
И скоро ветер вас
подхватит,
Любовь моя — салоп
на вате —
Тяжелой музыки недуг.

Любовь — салоп?.. Такое, в самом деле, кажется еще не встречалось. Откуда же он взялся, этот са-

мый салон? Заглянем-ка в словарь: «Салоп (устаревшее). Широкое женское пальто особого фасона, распространенное в мещанско-купеческой среде во второй половине XIX века». Да, реликт, за ненадобностью давно всеми благополучно забытый. Зачем же извлекла его на свет божий наша вполне современная поэтесса? Чтобы показать, что она, не отставая от теперешней моды, отдает дань увлечению стариной? Приглянулось редкостное словцо, могущее придать некую таинственность стихотворной фразе?

Но ведь еще В. Г. Белинский писал: «Простота языка не может служить исключительным и необходимым признаком поэзии; но изысканность выражения всегда может служить верным признаком отсутствия поэзии».

Что ж, сурово, но справедливо.

Каковы же стихотворные мотивы у других поэтов? Помните: «Любовь никогда не бывает без грусти...»? Действительно, грусти в книге хоть отбавляй — чуть ли не на каждой странице. Рядом с «грустью-тоской» — «печаль», а там, конечно, и «дале», и «не жаль», ну и остальные шаблонные рифмы, которые, как бы ни мудрил автор с формой, влекут за собой и шаблонное содержание.

Здесь, к счастью, можно, наконец, переменить тональность: есть в сборнике и хорошие стихи. В них и радость, светлая печаль, спутники переживаний и раздумий, тайной работы души, а главное — искренность. Ведь известно: если стихотворение искренне и поэтично, оно уже не может быть плохим. И таких стихах поэты, как правило, не замыкаются только на личных переживаниях. Потому стихи эти и отзываются в сердцах, обретая гражданственное звучание.

Еще дымят угарно
 пепелища,
 Еще железо плавится, как
 воск.
 А женщину
 прекраснейшую ищут
 Солдаты наших
 действующих войск.
 Найти! А значит,
 выиграть сражение.
 В столетья простирается
 война...
 И женщина эпохи
 Возрождения
 Для поколений новых
 спасена.
 В руках,
 Вздывавших красные
 знамена,
 Решавших судьбы наций
 и держав,
 Плывет, плывет
 Сикстинская мадонна,
 К груди младенца бережно
 прижав, —

пишет Алексей Крючков («Спасение мадонны»).
 Любовь здесь становится поистине высоким, свя-
 щенным символом. Как и в прекрасном стихотво-
 рении Александра Скворцова «Натали», где каждая
 строка полна неподдельного вдохновения и сокро-
 венного смысла.

Вряд ли не затронут юные умы и души стихи
 Олжаса Сулейменова, ставшие уже хрестоматий-
 ными,—«Догони» и «Аз тэ обичем», лирика Вале-
 рия Антонова, Семена Анисимова, Александра Ел-
 кова, Сергея Киселева, Геннадия Круглякова, Руфи
 Тамариной, Владимира Шестерикова, Льва Щег-
 лова...

«Любовь! Как много в этом звуке...» — вправе
 мы сказать, перефразируя великого поэта. Звук

этот должен быть ясным и чистым, как и самое возвышенное человеческое чувство. Досадно, если к нему примешиваются невнятные, диссонирующие нотки.

СТЕПНАЯ РОДИНА

Имя казахстанского поэта Владимира Шестерикова знают не только в нашей республике. Его громкие, но своеобразные, не теряющиеся в многоголосом поэтическом хоре стихи можно встретить на страницах центральных журналов и газет — «Сельской молодежи», «Литературной России»... Подборки поэта из Петропавловска не единожды помещал выходящий полуторамиллионным тиражом ежегодник «Сельский календарь». В Алма-Ате увидела свет его четвертая книга — «Катер на Ншине».

Новый сборник, как и предыдущие, невелик по объему (и, к сожалению, слишком бедно оформлен): для требовательного к себе автора количество строф и строк — не самоцель. Как сказал Михаил Светлов: «Одно хорошее стихотворение всегда лучше, чем одно хорошее и одно плохое».

Секрет притягательности стихов Шестерикова — не на поверхности строки, а в ее глубине, не в эффектных формалистических приемах (техники стиха сейчас владеют многие), а в искренности чувства и интонации, верности теме, в том, что критики именуют обеспеченностью поэтической продукции запасом эмоциональных впечатлений.

Запас этот у Шестерикова весьма основателен и постоянно продолжает пополняться за счет тонкой наблюдательности, сосредоточенной внутренней ра-

боты, приобретаемой с годами зрелости. «Все мы — родом из детства», — говорит герой знаменитой сказки Антуана Сент-Экзюпери. Именно там, в детстве, начинается — крупица к крупице — откладываться то самое «золото души», которое озаряет чистым, благородным светом все значительное и прекрасное, что создается человеком на нашей земле.

«Степная родина» — назвал поэт одно из своих стихотворений. «Край берез и край лихих бурянов», край освоенной целины для Шестерикова берет начало с «неброской на вид», затерянной в степи станции — той, что помогла родившимся накануне войны мальчишкам ощутить свою причастность к свершениям и заботам огромной Советской страны. Те из них, кому повезло, — и Владимир Шестериков тоже — в сорок пятом, ликуя, принимали к продыmlенным шинелям и гимнастеркам вернувшихся с победой отцов. А многим — не довелось... Шестериков — родом оттуда, и признанию его — веришь:

И теперь, хоть стал я взрослым,
Ни уехать, ни уйти, —
Всюду станция Зарослое
На моем лежит пути.
Я увидеть снова жажду
Дорогие мне края...
Видно,
есть всегда у каждого
Детство —
станция своя.

Мотив детства, возвращения к истокам нравственных начал, воспринятых от старших и передаваемых новым поколением, — мотив этот явственно звучит и в других стихотворениях сборника как выражение чувств поэта, осознающего свою высоту

гражданскую ответственность перед юным читателем, которому — в первую очередь — адресована книжка.

У него не найти мелочных, фальшивых, напыщенных строк, каждая — согрета сердечным теплом, движима живой энергией чувства и мысли. Смыслу, ведущей идее подчиняет автор весь арсенал разнообразных поэтических средств, делая это, как правило, с большим чутьем, легкостью и свободой.

В лаконичном стихотворении об отце-фронтовике все предельно строго и просто. Ни эпитетов, ни искусных сравнений. Только факт: он возил по льду Ладожского озера в осажденный Ленинград боеприпасы, чудом остался жив. А значит — жива, не тронута и память тех дней.

Отцы мужеством своим отстаивали свободу, счастливую жизнь для грядущих поколений, и наш долг — быть достойными содеянного ими.

А наши матери!..

Война трубила дни разлуки...
И за околицей села
Они роняли молча руки,
Как птицы —
Два крутых крыла.

Трудное детство, совпавшее с войной. Его не вычеркнуть из памяти. И через эту призму — насколько отчетливей, объемней, многогранней видится поэту наш мирный сегодняшний день! Трактор нунонелинников, поднятый как памятник на пьедестал, «жаркие слитки страдного зерна», добытые трудом хлеборобов, солнечные лучи, что «по-хозяйски в поле заскирдованы», «столбовая дальняя дорога вдоль берегов колосьев золотых» — все то, чем так богата Родина, неоглядный, милый серд-

...Степная родина. Не стихать, чисто звенеть в поэтическом хоре голосам твоих перелесков, твоих пшени и хлебных полей.

СОЛНЦЕМ СОГРЕТЫЕ СТРОКИ

Имя Татьяны Кузовлевой хорошо известно читателям нашей республики по переводам стихов современных казахских поэтов. Однако не только в переводах, но и во многих собственных стихотворениях она «выходит» на тему Казахстана непосредственно, и поэтический голос ее звучит при этом по-особому свежо, приподнято и задушевно. И это понятно: близкое знакомство с нашей республикой, с величавыми горами и беспредельными степями, с обильной Великим Октябрем казахской землей и людьми, осмысление казахской древней и современной поэтической традиции — все это не могло не оказать глубокого, плодотворного воздействия и на оригинальное творчество Т. Кузовлевой. Подтверждение тому — ее поэтический сборник с характерным названием «Степная птица» — названием очень удачным, ибо оно — не просто некий отвлеченный символ, а отражение глубинной сути книжки, стихи которой навеяны широким и вольным дыханием казахстанских просторов, проникнуты любовью к большой многонациональной Советской Родине.

Яркость и динамизм, раздумчивость и стремительность свободного полета, верность истокам и смелость открытия нового — вот что слышится в неслучайном, но емком словосочетании, вынесенном на книжную обложку.

Итак первое стихотворение — «Казахских жен-

щин имена» — отчетливо передает приподнятость интонации поэтессы, вводит читателей в круг ее любимых, отмеченных легко распознаваемым колоритом национальных образов и реалий. То же относится и к другим стихам сборника, и главное, что органически присуще и придает им подлинно интернационалистическое звучание, — это гордость автора своей принадлежностью к великому братству советских людей, в каком бы краю они ни жили и на каком бы языке ни изъяснялись, — то, что Павло Тычина образно назвал «чувством семьи единой». И в этом гражданственность внешне негромких стихов Т. Кузовлевой, их обаяние, глубина и внутренняя сила, дающие уму и сердцу читателей куда больше, чем нередко встречающиеся у иных стихотворцев наборы рифмованных прописей и деклараций.

И еще один верный признак истинной поэтичности есть у стихов Т. Кузовлевой: они — в большинстве своем — емки, многомерны, несут в каждой своей строке максимум поэтической «информации», что и придает небольшой вещи широту и размах. Вот, например, «Степь» (кстати, этот дорогой для автора образ неоднократно встречается на страницах сборника, высвечиваясь то одной, то другой своей гранью). Содержание просто: лирическая героиня едет на машине по бесконечной степной дороге, и память ее воскрешает картины ушедших в глубь истории времен. Попутчик-казах, старожил этих мест, кому, казалось бы, все здесь давно знакомо и привычно, тоже умолкает, задумывается, словно заново пораженный величием и красотой родных просторов. Сюжет как будто довольно традиционный. Но стихотворение впечатляет точностью исторических деталей, лаконизмом, неожиданностью и свежестью поэтических находок:

Дорога,
Дорога,
Она сквозь века,
Здесь что ни былинка — приметная веха.
Дотронься рукою — и дрогнет рука,
И вспыхнет
Уснувшее в древности эхо.

Интересное, значительное решение находит тема
в заключительных строфах стихотворения:

Я звуком боялась вспугнуть диалог.
А был диалог бессловесен, условен:
В нем спутник мой
К слогу угадывал слог,
Он с этою степью
Был единокровен.
И сын, и хозяин,
Он с нею был вновь,
И нам позволял познакомиться с нею.
И в сердце вмещалась чужая любовь,
Навечно сливаясь
С любовью моею.

Вот с этой любовью и пишет Т. Кузовлева о том,
что горячо волнует ее, задевает сердце. Да иначе и
быть не может, ибо в поэзии, как говорил Александр
Твардовский, нельзя притвориться искренним, чув-
ствующим так-то, если не испытываешь этих чувств
на самом деле. Отсюда — цельность лучших стихов
сборника, их своеобразие.

Взгляд поэтессы зорок и точен, душа — по-рус-
ски распахнута, широка и щедра. Она находит свои,
незаемные слова и для того, чтобы воспеть родную
землю — «это звонкое, это щемящее, это — необъ-
яснимое — Русь», и — чтобы, перенесшись в край
своих друзей, сказать очень просто, но мудро:

Над нами повсюду одна высота,
И небо над нами
Просторно и чисто.

Казахская песня звучит серебристо —
Мне русская слышится в ней широта.
(«Казахский язык»)

Такой же добрый, спокойный и ясный внутренний свет озаряет и другие «казахстанские стихи» сборника — «Утро Алма-Аты», «Верблюжонок», «Ак-Терек», «Юрта», «Казахской поэтессе», «Домбра», «Ночь в ауле», «Алма-Атинская луна», «Кок-Тюбе», «О, раскосые очи казахских детей...», «Пиала»....

Будь книжка составлена из одних только этих вещей — и тогда она выглядела бы по-своему примечательной и интересной. Помимо них, мы находим здесь и любовную лирику, и размышления о мире, о времени, о природе и человеке. В основе всего этого — та же мягкая, застенчивая доброта, нежность поэтессы ко всему сущему на земле, которые естественно и свободно сочетаются с твердостью, верой в победу светлого, гуманного начала. Ей вспоминается военное детство, солдатки, не дождавшиеся мужей с фронта; перед ее взором на старых снимках оживают дети, мальчик («он выжил сам. И заслонил меня»), и глаза их «вопрошают, выстоим ли мы, когда за все придется быть в ответе, чтоб никогда уж маленькие дети не шли богами в глубине зимы?»

В стихах «Как нереально то, что до войны...», «Весенних дней неслышное начало», «Баллада о солдатке» муза автора становится сдержанной и строгой, как у поэта-воина Юлии Друниной. Стихи сборника «Степная птица» так же, как и замечательные строки Ю. Друниной, пробуждают в читателе высокое нравственное чувство и призывают свято чтить память тех, кому мы обязаны своей мирной счастливой жизнью.

Благородный, светлый и мужественный этот мо-

тив «приподнимает» строки даже самых лиричных, самых земных, интимно-доверительных стихотворений — «Тополя», «Синее небо», «Свети тебе счастливая звезда...», «Яблоко», «Баллада о березах», — каждое из которых вносит свои неповторимые краски в поэтическую палитру сборника. Многие здесь хочется повторять, восхищаясь их легкостью и каким-то подчас необъяснимым обаянием:

Детские волосы
Пахнут птичьими гнездами.
Нежностью пуха под ласточкиным крылом.
Свежей землею,
И лесом,
И солнечным воздухом,
Всею любовью и всем человеческим теплом.

Мы уже отмечали, что внешне стих Т. Кузовлевой непретенциозен, свободен от разного рода искусственно сконструированных построений и украшений. Но это вовсе не означает однообразия, напротив, в подавляющем большинстве своем вещи сборника отличаются друг от друга и лексически, и интонационно, и Татьяна Кузовлева демонстрирует здесь завидную раскованность и свободу поэтического письма.

Говоря образными словами поэтессы, сказанными о вольно парящих птицах, ей также дано редкое «счастье — лететь впереди и первому чувствовать свежесть потока...» Конечно, было бы неверно утверждать, что все в сборнике безукоризненно: встречаются тут подчас менее удачные, необязательные строки, облегченные, сглаженные созвучия. Но лицо книжки определяется вовсе не этим, и, прочитав ее, остаешься взволнованным чудесным волшебством русской поэзии, в мелодию которой столь естественно и органично влилась «степей неумолкающая песня».

КОРНИ И КРОНА

Название этих заметок навеяно заглавиями ряда поэтических сборников, выпущенных издательствами «Жалын» (единым «блоком» под рубрикой «Первая книга поэта») и «Жазушы».

«Корни», «Облака в синеве», «Журавлиная стая»... О чем пишут поэты, впервые шагнувшие к широкому читателю? Каковы их истоки и «вселенная», ощущение сегодняшнего мира? Не теряется ли лица необщее выражение у них, оказавшихся, по издательскому жребию, в одной литературной шеренге?

Авторы книг — М. Баданов, Л. Усова, Т. Шабаренина, М. Булгаков, В. Веригин, Т. Азовская — казахстанцы, живущие в разных уголках республики. Читателям их имена знакомы по публикациям в газетах и журналах, коллективных сборниках. Но, повторяем, вот так, собственной книжкой выходят они к читателям впервые. А молодые ли это поэты? Да как сказать, — весьма относительно. Например, целиноградец Михаил Баданов печатает стихи без малого пятнадцать лет. Печатает и в областной газете, и в «Казахстанской правде», и в журнале «Простор». И «Корни» его могли бы прорасти древом поэзии значительно раньше. А корни у поэта надежные, прочно связанные с казахстанской хлебной целиной.

Я ухожу дорогой полевой
Навстречу утру,
Молодому небу.
Восходит солнце
Над моей землей

Румянным,
Жарким караваем хлеба,—

таким видит поэт характерный пейзаж родного края («Земля моя»). Немало у него добрых, признательных строк о людях труда — хлеборобах, кузнецах, лесорубах. Но сказать об этом просто так — значит не сказать почти ничего, ибо то же самое справедливо и по отношению к большинству пишущих — и не только стихи, но и прозу. А с поэтов, так уж повелось, спрос особый. Недаром высказывалось и такое, парадоксальное, на первый взгляд, но по сути верное мнение, что поэзия часто — не сами стихи, а то, что после них остается...

«Корни» Михаила Баданова — и в его далеком детстве, небестревожном, опаленном войной. Нет, здесь не грохочут взрывы, не льется кровь: деревенский парнишка сам этого не видел. Но то, что наблюдал и чувствовал,— запомнил. И заново пережил — уже в стихотворении:

...Июнь сорок первого года.
Мы к речке бежим босиком.
Пока — золотая погода,
А страшное будет потом.
Как пули, шмели пролетали,
Мелькала в глазах мошкара...
Не думали мы,
Не гадали,
Что кончилась детства пора.
Отцы еще сено косили.
И в мареве зрела страда.
Над полем неслись эскадрильи,—
Пока мы не знали — куда.
(«Июнь 1941 года»)

Она, та война, внезапно ворвалась в такую привычную мирную жизнь и жестокой рукой подчинила себе людские судьбы. До сих пор слышит поэт голос близкого человека — дяди-плотника, которому при-

шлось сменить нехитрый свой инструмент на автомат, видит его «улыбку... скрытую в усах, его топор, оставленный в ограде, и тот венец, что он не довязал» («Военкомат прислал повестку дяде...»).

Есть в этих стихах чудо недосказанности, то самое «чуть-чуть», без чего не бывает настоящего искусства. И стихи эти истинно гражданственны, хотя совсем негромогласны. И слова в них бесхитростные, простые, но главное — свои.

Такие вот глубокие корни придают строкам характерность и надежную устойчивость. Там же, где автор ступает на давно проторенную, утопанную тропу литературной традиции, появляется в стихах то, чего следует опасаться, — обманчивая легкость. Это касается, конечно, не только М. Баданова. Ведь большинство вещей всех шести сборников написано традиционным рифмованным стихом. Речь вовсе не идет о том, что стих этот изжил себя. Известные стихотворные размеры и привычная «матушка-рифма» скрывают в себе пока практически неисчерпаемые поэтические возможности. Однако они же, при малейшем снижении авторской требовательности, оказывают пишущим недобрую услугу, лишая их творения художественного своеобразия. Знают ведь стихотворцы, насколько коварная это вещь — рифма. Знают, но часто не прилагают усилий к тому, чтобы обойти этот «риф».

Вот, у М. Баданова, скажем, навязчиво рифмуется «дороги» и «тревоги». А когда, читая сборник за сборником, встречаешь те же избитые созвучия еще у нескольких поэтов, невольно вспоминаешь насчет той самой, недоброй памяти, Демьяновой ухи. Да, нелегкое это испытание — шагать в единой поэтической шеренге...

И все же, прежде чем перейти к другим поэтам, разговор о книге М. Баданова хотелось бы завер-

шить мажорной нотой — еще одним хорошим его лирическим стихотворением, венчающим сборник:

Слышишь,
Провод звенит грустно-грустно?
У высоких небес на краю
Перелетные дикие гуси
Держат чисто равнение в строю.
И, прощальною дымкой повитый,
Опустел неизбежно простор.
Всем печалям открытые виды
И утраты знобящих озер.
Скоро даль беспредельная скроет
Чуть приметную серую вязь.
Но звенит тот невидимый провод —
неразрывная с родиной связь.

Казалось, на что уж «цитатный образ», — столько всего писано-переписано с давних пор про перелетных гусей-лебедей, — но поэт сумел увидеть и прочувствовать извечную эту картину по-современному. В самом деле, только в наш насыщенный всевозможной техникой век может прийти на ум сравнение цепочки птиц в небе со звенящими проводом. Но дело, конечно, не во внешних приметах времени (ими-то как раз часто бывают заполнены безликие, конъюнктурные стихи), а в глубинном, философском, гражданственном их осмыслении.

Ведь гражданственность вовсе не равна лозунговой декларативности, делающей ставку главным образом на восклицательные знаки...

...И тишь стоит июньскими ночами,
И купола Москвы горят вдали,
И спят в музеях старые тачанки,
И мчатся в черный космос корабли, —

раздумчиво, эпично открывает свой сборник «Облака в синеве» Любовь Усова. Вот что значит настоя-

щая поэзия пожалуй, только она способна сделать несколько строчек «томов премногих тяжелей». В самом деле: никакой риторики, зато сколько смысла.

«И тишь стоит июньскими ночами...» Разве забудешь: именно той, далекой уже теперь и тоже поначалу тихой июньской ночью началась самая жестокая в мире война. Наш народ вышел из нее победителем, наша страна стала прочным оплотом мира и прогресса. И революционная история, и сегодняшней мирный день — вот сколько смогла уместить в себе короткая строфа. И потому, наверное, она так волнует.

Хотелось бы пожелать побольше таких удач и Л. Усовой, и ее товарищам по поэтическому цеху. Тем более, что и в «Корнях», и в «Облаках в синеве», и, как увидим, в других книжках, далеко не все равноценно: встречаются нередко стихи, отмеченные налетом литературщины, состоящие из готовых слов, а то и целых блоков, мелкотравчатые и, несмотря на обилие ложных красот, бесцветные. Такие стихи, даже при наличии местоимения «я», прямо указывающего на автора, не несут на себе следов творческой индивидуальности, перепевают чужие мотивы. Каких только поэтических отголосков тут не встретишь! Чаше всего — С. Есенина, Н. Заболоцкого, А. Твардовского, Павла Васильева... Слов нет, это прекрасные поэты, но они-то ведь других не перепевали. Так что лучше, как говорится, иметь пусть не громкий голос, да свой.

...И в душе — трава,
А надо, чтоб колосья...—

на особый лад выразила авторскую сверхзадачу в сборнике «Журавлиная стая» Тамара Шабаренина. В аннотации сказано, что «предельная искренность

помогает ей в поэтическом восхождении на высоту подлинного чувства». Да иначе и быть не должно: что же за поэзия без искренности? Подкупают у Т. Шабарениной стихи о любви, верности, смятении души. Особенно примечательно — о гармонии человеческих отношений: «А мы с тобой живем, живем...», где чувство передано настолько правдиво, что заставляет еще раз задуматься над давно в общем-то известным постулатом: «А нет любви — и жизни нет!»

Интересно динамичное, азартное стихотворение «В бригаду», полное романтики и молодого задора, хотя местами звучит оно слишком уж «по-евтушенковски»:

Ребята, конечно,
Мой подвиг оценят.
И тапки, конечно,
Немедля нацепят.

Впрочем, литературное чутье порой изменяет Т. Шабарениной, и она забывает о том, что звуковая, ритмико-интонационная и содержательная стороны стиха тесно связаны и чутко реагируют друг на друга. Так, серьезное по мысли стихотворение о матери во многом проигрывает оттого, что написано в несоответствующем его тональности приплясывающем частушечном ритме («Все о маме»). Примечательно, что тот же ритмический рисунок повторен и в другом стихотворении:

Что за осень за такая! —
Нараспашку, нараспев!
Листья тают,
Листья тают,
нашуметься не успев.
Что за осень — не согреться,
Видно, зря кусты горят.
...Никогда
Так близко к сердцу

Не кружился
Листопад.

И в первом, и во втором случае — дисгармония между интонацией и смыслом, настроением. Такие стихи лишены главного — чувства. Читаешь — легко, складно, но так же легко и забываешь.

Иметь четкий поэтический замысел стихотворения и в соответствии с ним расположить весь материал — в этом заключается одна из сторон поэтического мастерства. Овладеть им, понятно, не просто, но тут уже, как говорится, коли взялся за гуж...

Прочно связан с отчим краем целиноградский поэт Михаил Булгаков, дебютировавший книгой «Позови меня, степь». Сельский житель, он видит свою творческую задачу в воспевании тружеников земли («Мне жизнь села родного славить»), людей особого, целинного склада, показывает их духовное богатство и красоту. Сыновьям героя-первоцелинника Василия Рагузова — Владимиру и Александру адресует он по-мужски лаконичные, гордые строки:

Целинник я!
Навеки мой причал
В краю, где есть рагузовская сопка.

М. Булгаков знает цену труда хлебороба и учителя, знает, «как тоскует степь по пахарю, по свежей пашне, по дружной песне косарей». В стихотворениях «Когда-то я был плотником» и «Учил меня мастер...» он пишет о поэзии простой физической работы, о мастере — «великом кудеснике», который властвует над деревом и металлом, воплощая в них красоту.

Вместе с тем, сборник не лишен просчетов. Название его перекликается во многих стихотворениях,

пазоуливо варьирующих мотив «зова степи». Однако это само по себе еще не способно придать книге художественной цельности и своеобразия, а, наоборот, вызывает некоторую монотонность. Вряд ли можно признать поэтической находкой правильные по сути, но «ничейные» по своей лексике строки: «Мой отчий край — любовь и вдохновенье», «Родная степь — любовь моя и школа» и другие, им подобные. Подлинность таких характеристик сомнения не вызывает, но все же хотелось бы здесь видеть слова более яркие, добытые из глубины, а не лежащие на поверхности.

И, конечно, не могут украсить книгу стихи, явно, вплоть до прямого лексического заимствования, копирующие хрестоматийные образцы: «Жизнь моя, ты был иль небылица...»; «Жизнь моя — песчинка и комета — отгорит, как маки вдоль межи. Отгорит, да только не жалею...» Кто же не припомнит тут Есенина! Нет, таким путем в поэзии авторитета не наживешь.

Если Михаила Булгакова привлекает степь, то его товарища по перу, молодого (на сей раз без огорок) поэта Виктора Веригина манит к себе другая стихия. Сборник его озаглавлен «Притяжение гор». Лирический герой книги почти всегда в пути, о чем говорят сами названия стихов — «В походе», «Я снова на Катунских островах», «Я все чаще хожу...», «В поселке этом...», «По тайге, по горам, по коварным рекам прокладывает он свой маршрут ради того, чтобы понять настоящую цену красоте и мужеству» — сказано в аннотации. Одно из стихотворений этого плана автор посвятил Н. К. Рериху. Здесь поэт рисует характерные, полные величия пейзажи в окрестностях Нижнего Уймона — алтайской деревни, где некоторое время жил Рерих. Картины, действительно, неповторимые, настраивающие на

высокий и строгий лад, и автор проникается всем этим. Но вывод, который он делает в конце, опять-таки из-за своей привычности, звучит обыкновенной констатацией:

И, доверяя трудной высоте,
Здесь сознаешь, пусть даже и не первым.
Что горы проверяют нас на верность...

Насколько все-таки важно уйти от назидательности, недосказать. Пусть лучше говорит подтекст, без него стихи, даже о самых крутых высотах и бурных реках, выглядят бескрылыми и неодухотворенными.

Как это часто бывает, В. Веригин добился удачи в стороне от заявленной тематической линии — в лукавом, насыщенном самоиронией стихотворении «Я весело живу...» и в другом — о весне:

Солнце крутит мартовское сальто.
Дети разукрашивают смело
Серую обыденность асфальта
Развеселым белым школьным мелом.

Здесь в каждом слове, в каждом образе — молодая энергия, ощущение свежести, радостное восприятие жизни, столь свойственное нашей молодежи.

В «поэтическую обойму» издательства «Жалын» вошел также первый сборник стихов казахстанской поэтессы Татьяны Азовской — «Благодарю судьбу».

В стихах Т. Азовской, пожалуй, сильнее, чем у других поэтов, о ком шла речь выше, ощутимо влияние книжной традиции. Автор и не скрывает этого: одно из стихотворений озаглавлено «Читая «Трех сестер», к другому — «Мимо острова Буяна...» — поставлены эпиграфом пушкинские строки. И здесь, на наш взгляд, поэтессе не удастся достичь успеха.

Уже давно замечено: когда поводом для стихов служат стихи, — результат редко бывает хорошим. «Мимо острова Буяна...» — пересказ легенды об острове, который «обнимают... руки маленькой речушки, что зовут Чаганом люди». Отрыв от времени, искусственность образов, нелепое нагромождение слов: «...побелка стен тесовых студит молодой румянец солнечной вязанки лука» — вот чем удручает это пространное стихотворение.

И в других случаях поэтесса не раз прибегает к литературным ассоциациям, то вспоминая Пушкина в Михайловском, то приводя «красивые» строки про «цветы хризантем», которые сгодились бы для душещипательного романа. А где же обещанные аннотацией «дела и думы сверстников»? Их почти не видно.

Т. Азовская подчас утрачивает чувство слова. Досадно, что и в стихотворении с обязывающим названием «Читая «Трех сестер»» попадают трудные произносимые сочетания.

Несмотря на рубрику о первой книге, Т. Азовская тоже не новичок в литературе, и, подойди она требовательней к отбору произведений, дебют ее наверняка стал бы куда более успешным.

Кстати, сказанное справедливо и по отношению к другим участникам поэтического «парада». Нет сомнения, каждый из них отдает себе отчет в том, какое значение имеет для литератора первая книга. Она — и своеобразная творческая заявка, и аванс на будущее. Тем более, что читатель ныне в основном искушенный, свободно ориентирующийся в безбрежном поэтическом океане. Его не удивишь изысканностью возведенных в самоцель стихотворных приемов. Главное для него — искренность авторской интонации, широта кругозора, стремление поэта сказать о чем-то своем, выстраданном и сокро-

венном. Неспроста Михаил Исаковский писал: «Если стихотворение искренне и поэтично, то оно уже не может быть плохим».

Искренне и поэтично... Первое, конкретное по своей сути, слово понятно всем. Что же касается поэтичности, то она труднее поддается сколь-нибудь четкому определению. Действительно, чем ее можно измерить? Плотностью образов на данную «единицу поэтической информации»? Степенью эмоционального воздействия на умы и сердца каждой стихотворной строки? Или, может быть, еще какими-либо показателями? Нет, не легкое занятие — «алгеброй поверять гармонию». Но, к счастью, ощущение этой самой поэтичности приходит к читателю как бы подсознательно, интуитивно, и, соприкасаясь со стихами, он, не мудрствуя лукаво, способен быстро отличить «зерно от плевел».

С чем ты, поэт, выходишь к людям, что открываешь для них и в мире, и в себе — вот вопрос, который должен по-особенному волновать авторов первых книжек. Ведь, в конце концов, набрать несколько сот стихотворных строк и поместить их под одной обложкой — дело не такое уж хитрое. Но вот чтобы из них сложилась настоящая книга, необходим прежде всего строгий авторский самоконтроль, осмысление как частных, так и целого, всей глубинной, внутренней структуры. Как говорил в свое время А. Твардовский, у каждого поэта должна быть своя «генеральная дума», проходящая осевой линией через все его творчество.

В компоновке серии «Первая книга поэта» очень многое, понятно, зависит от издательства, редактора. Кто, как не редактор, должен был сопоставить друг с другом входящие в серию книжки, поработать с авторами, устранить нежелательные повторы и переклички. А их немало. Достаточно привести

хотя бы такие примеры: «Вот и сентябрь ушел беспечный, огонь рябиновый погас»; «Догорает в копнах лето. Осень — грустная пора»; «Сентябрь, сентябрь, висит на нитке солище, вот-вот сорвется в жухлую траву»; «И солнца перезревший плод за дальний лес сорвется скоро»; «И клен багряный, натянув берет, нисколько не был солнышком согрет». И так далее и тому подобное.

И в том, что читая сборники, то и дело встречаешь десятки кочующих образов, неразлично близких по тональности, по ритму, по стилистике строф, начисто стирающих авторскую индивидуальность, немалая доля вины редактора.

Разговор этот принципиальный, ибо выпуск серии «Первая книга поэта», знакомящей с новой литературной сменой, — дело важное, отвечающее духу постановления ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью». Подобные издания знакомы нам с давних пор, безусловно, будут они появляться и впредь. Полезно держать их в центре внимания, изучить предыдущий опыт, чтобы не повторять допущенных просчетов. И есть надежда, что выход в свет серии стихов молодых станет в будущем продолжительным событием литературной жизни и принесет с собою радость открытия новых, интересных поэтических имен.

* * *

Трудно писать о стихах... Бывает, прочитаешь и — как песок сквозь пальцы. Сказать, зря время потратил, — не скажешь: что-то узналось, промелькнула эффектная строчка, метафора, рифма. Но отложишь книгу — и ушло все, растаяло: и автора толком не представил себе как человека, и имя его с этой книгой в сознании не связалось. Не все ли равно: встретилось нынче, а могло — в другом мес-

те, в другой раз. Да и вообще что-то подобное уже встречалось, и не однажды.

Посему и не воспринимается как красивость выражение «жемчужина поэзии», когда речь идет о творениях, переживших века. О строках, неотделимых от их создателей. Пушкина. Лермонтова. Тютчева. Есенина. Заболоцкого...

Могут сказать — высокий критерий, не всем же создавать шедевры. Да, счастлив поэт, чьи строки, пусть немногие, помнятся долго-долго. Значит, что-то они вобрали в себя очень значительное, весомое. Опыт поколения. Мудрость. Судьбу. Эпоху...

Ясно — добротные строки на пустом месте не возникают. И тут литинститута даже мало, главное — жизнь прожить. Духовно, интеллектуально, гражданственно. Осмыслить, прочувствовать. И сказать современникам такое, что и они ощущают, а выразить — столь же точно и емко — не могут.

Понятно, случаются и ранние поэтические озарения, но чаще они — детища таланта, жизненного опыта и приходящего с годами высокого мастерства.

Короче, далеко не всегда поэт сразу же способен сказать свое «золотое слово». Возможно, оно у него еще впереди. Но и скидки на возраст здесь делать не пристало: вышел поэт к людям — показывай товар лицом. Только от тебя самого зависит, запомнят ли, будут ли ждать твою новую книгу.

Хорошее дело продолжает издательство «Жазушы», регулярно представляя на читательский суд небольшого формата, идентично оформленные томики серии «Первая книга».

Вот очередной сборник — «Высокий берег». Автор его — поэт из Павлодара Виктор Семерьянов.

Обязывающе назвал он книгу: с высокого берега — и дали видны неоглядные. И слова ждешь живые, окрыленные. А тут еще вспомнишь: какие лю-

ди слиты с этим краем, какие слова написаны! Павел Васильев: «Мой Павлодар, мой город ястребиный!», Всеволод Иванов...

Заметим сразу — ничего «исторического», с гарантией на долговечность земляк своих знаменитых собратьев пока не создал. Но и судить не надо слишком строго — это для него только начало, разбег, а крыльям-то крепнуть — в полете.

Посмотрим же, чего достиг молодой поэт на сегодняшний день. Во-первых, у него явственно проступает в стихах определенная, сквозная тема. Тема эта — «река былинная Иртыш». С этой рекой автор знаком не понаслышке: плавал по ней матросом, был рулевым, капитаном теплохода. То есть, здесь полагалось бы подчеркнуть его хорошее знание того, о чем пишет. Предмет он знает, безусловно. Но известно — само по себе знание литературного качества еще не дает. Все дело в стихах, в их речевом, образном, ритмическом наполнении. И здесь благо уже то, что В. Семерьянов избегает прямых литературных реминисценций, кои для облегчения творческих мук используют иные стихотворцы. Правда, и проку от их лишенных новизны творений никакого. Поэзия — «езда в незнаемое», а тут скорее — не езда, а доподлинное топтание на месте. Справедливо замечено: в литературе даже второй Пушкин — и тот не нужен.

Но если прямых реминисценций и цитат в «Высоком берегу» нет, то и настоящих поэтических находок маловато. Полностью высказаться, раскрыть творческое «я» мешает автору робость в поисках свежего, образного, незатертого слова. Он будто нарочно сдерживает бег пера, волей-неволей сворачивая в накатанные колеи книжных традиций.

Между тем, еще более сорока лет назад большой советский поэт Николай Асеев с тревогой писал о

том, что «неряшливость, штамп, шаблон зачастую становятся заместителями изобретательства в поэзии» (журнал «Литературный критик», 1936, № 1, стр. 190).

Именно через эту призму и кажется небесполезным взглянуть на книжку стихов В. Семерьянова, тем более, что в ней сконцентрированы многие черты, характерные для творчества его молодых казахстанских коллег.

Итак, конкретно — «Высокий берег». В открывающем его стихотворении «Бакенщик» заявлена ведущая тема сборника — «былинная река» и ее люди. Показан здесь рядовой труженик Иртыша Иван Иванович Маслов, перечислен ряд операций, какими он занимается по долгу службы: «звезды зажигает», «их всю ночь оберегает», «гасить уходит бакенá», «глубину реки измерит, чтоб не попал никто в беду».

Такой же объем информации способна дать и обычная газетная зарисовка. Но для стихов-то этого мало. Где же «поэтическая искра», многозначность, подтекст? Их, увы, нет. Все читается прямо «с листа». А что же язык? И он не блещет: все эти «чудо-фонари» и «пашня голубая» давно потускнели, став расхожими атрибутами заурядных газетных заметок.

Или — «Круги почета», посвященное комбайнеру, Герою Социалистического Труда Н. М. Соколову. Тот же репортажный стиль, знакомый изобразительный ряд: «распахнутый простор», валки — золотые волны, комбайн, который «флагманом уходит на новый круг». Эти круги представляются поэту кругами почета, но мысль выражена опять-таки прозаично, что приземляет стих, не давая ему воспарить над обыденностью.

Таким стихотворениям, как «Поклон тебе, рабо-

чий класс...» и «Песни революции», вредит риторичность, надуманность. Неудачно противопоставление революционных песен народным — о Стеньке Разине, «Дубинушке», которые, якобы, «тихо льются». Почему же тихо? Кстати, эти песни любили и революционеры. Да и революционные песни не обязательно громкие. «Замучен тяжелой неволей», например. Признание поэта: «Но песни революции дороже мне любимых» — потому и выглядит искусственно, что логически не подкреплено контекстом.

А сколь важны в поэзии соответствие смысла и интонации, «стиль, отвечающий теме». На этом спотыкаются многие пишущие стихи. Не свободен от подобных огрехов и В. Семерьянов. Вот — «Огонек». Похоронили ветерана войны, и смолкла его гармонь, никогда больше ее не услышать. Печальное стихотворение, а написано в бойком, чужеродном настроению ритме:

Проводили мы героя,
помянули на людю...
Только нет с тех пор покоя—
каждый вечер песни жду!

То же самое — в «Пучине», ритмически точно повторяющем предыдущее. Основа драматична: двое плывут в лодке, сначала безмятежно, затем вдруг попадают в пучину и чуть не гибнут. Выручают выдержка и хладнокровие спутника поэта. Описана же картина опять-таки бодрячески, и заверение автора: «но зато — случится буря — в камыши не убегу!» — как бы «провисает», не выдерживая возлагаемой идейно-смысловой нагрузки.

В сборнике немало пейзажных стихов. В них тоже трудно распознать какие-либо характерные черты творческой индивидуальности автора, ибо они растворяются в готовых словах и подчас красивых,

но слишком уж освоенных в поэзии образах и мотивах: «Горит малина — тугие капельки зари»; «солнца летнего осколки» (о желудях); «подобно яростной заре, горят заречные осколки» (о листьях берез); «седых вершин волшебный сон»; «здесь льются солнечные ливни, здесь много света и тепла» (о Баянских горах); «Степь мудрой ясности полна»; «Лес зарей заречной высвечен, он качается, как в пламени»; «...идем с тобой к холодному подножью, где озеро волнами серебрит...» Кстати, последнее слово употреблено неверно: озеро не серебрит, а серебрится.

Случаются тут и совершенно очевидные «сбои» вкуса, когда поэт, сам того не желая, подстраивается под стиль запетых романсов:

Я выбираю весла понадежней,
чтоб плыть с тобою
к острову Любви.
(«Над Джасыбаем...»)

Но, как мы отметили вначале, главную тематическую линию «Высокого берега» составляют стихи о родной для автора реке — Иртыше. Не все они равноценны, но тем не менее в них больше поэтических удач. А конкуренция тут тоже жестокая: кому не памятны ставшие хрестоматийными «яростные» «иртышские» строки Павла Васильева! И радуется, когда голос В. Семерьянова крепчает, достигает полного эмоционального накала, без какого и стихи — не стихи. Вот Иртыш разбушевался в ненастье:

Волны — горы,
волны — ямы!

Туго приходится в такую пору людям. Но они — сильнее стихии:

Катерочек ходит гордо —
непокорный и упрямый.

Живо нарисована эта картина, и в правдивость ее — веришь.

Запоминается трогательная, философски осмысленная поэтом сцена свидания с рекой посвятившего ей всю жизнь и ушедшего на отдых старого капитана, который, сойдя на берег, провожает взглядом уходящий буксир («Волны памяти»). А сколько глубокого смысла в ключевом поэтическом афоризме:

У каждого в судьбе
свой должен быть Иртыш

Хороши и отдельные «не речные» стихи, позволяющие верить в потенциальные творческие возможности автора.

Он эмоционально взволнован, чуток к жизни, людям, природе, к делам современников, и его «сердце... наполнено ритмическим огнем». Он способен точно передать настроение, удачно используя звукопись и другие изобразительные средства стиха:

Это — где-то очень отдаленно.
Это — где-то в памяти моей —
девочка по имени Алена,
речка под названием Алей.

Наконец, и это, пожалуй, главное, поэт умеет, отмечая шелуху литературщины, находить слова горячие, дарящие силу. Лучший тому пример — стихотворение «Оголенные провода» — о друге поэта, молодом хирурге и тоже поэте, чье дело и слово остались в сердцах и памяти людской. Прочтя его, вспоминаешь метко сказанное кем-то: «Поэзия — речь высокого напряжения».

Ради таких, настоящих стихов, право же, стоит братья за перо!

«Людам хочется слова, чтоб оно зажигало...», — пишет В. Семерьянов. Есть надежда, что в его следующем сборнике стихов такое слово прозвучит более отчетливо и звонко.

ДОВЕРЧИВОСТЬ К ДОБРУ

«Есть у стихов особенная сила», — сказал один поэт. И это не надуманно. Недаром говорят «магия поэтической строки». Но как она создается, из чего возникает? Бывает ведь: строки ритмически организованы, есть рифма, образность, подтекст. А все же читаешь и думаешь: а почему бы автору не написать о том же самом обычной прозой? И если такое ощущение возникает, можно смело сказать, что перед нами не стихи, а всего лишь подделка под них.

Искренность, невозможность поведать людям о чем-то сокровенном иначе, как только поэтическим словом, — вот, видимо, едва ли не самый главный критерий, позволяющий распознавать истинное. Этой искренностью и привлекает сборник стихов с простым, откровенным названием «Не имею секретов». Автор его — Николай Кузнецов.

«Он был добрым и мягким человеком. Светловолосым. Светлоглазым. Улыбчивым. В 1961 году он приехал в Караганду, пришел в городское литобъединение и стал читать стихи. Они были такими же, как он сам: светлыми, улыбчивыми, грустными. В то время Николаю Кузнецову было двадцать восемь. Спустя день или два его стихи впервые напечатала карагандинская газета. И регулярно печатала с тех пор одиннадцать лет. До самой его смер-

знакомое, обыденное и хотя бы мимолетно задуматься над ним:

Ты не медли, солнце,
покажись,
подари трепещущие блики!
Словно дети, удивленно
жизнь
ешпигуют листья
земляники.
Заалели из травы цветы,
и от аромата воздух
влажен...
Утро дарит царство красоты,
Чтобы души не черствели
наши.
(«На заре»)

Возможно, кое-кто увидит здесь традиционность, наподобие того читателя, которого возмутили в одних стихах такие «банальности» и «цитаты», как «равнина» и «материнское лицо». На это справедливо возразил в «Литературной газете» критик В. Кожин, заметив: «Равнина — тема давняя, философская, и никуда от этого не денешься. Луна и журавли существуют, не нуждаясь ни в чьих санкциях, и хочется надеяться, что этих «банальностей» на наш век хватит».

Чтобы души не черствели... Да, это тоже вовсе не банальность, а самая что ни на есть большая, насущная забота о духовном развитии личности. Поэт призывает нас откликаться на все чистое, прекрасное в окружающем нас мире, в природе, чувствуя с ними свою органическую связь. Тема, можно сказать, вечная, как вечна и сама природа. Важно, что поэт осмыслил и выразил ее по-своему.

Тополя мои, сосны,
луговая трава,
вас от ветров морозных
одевал я в слова.

Ваши песни подслушав,
людям их уносил,
чтоб оттаяли души
и прибавилось сил.

В стихах Николая Кузнецова нашло характерное отражение мироощущение современника. Именно это делает их созвучными нашему дню. Внешне же они непритязательны, лишены вычурности, каких-либо формальных ухищрений. В то же время поэт чрезвычайно тонко чувствует слово, заставляет его там, где это необходимо, звучать так, как ни у кого прежде. Опадают осенью листья, и для этой колоритной картины он находит поразительное по своей точности слово — «листометель», а лесную птишку малиновку называет «хрупкой невидимкой — голосницей».

Прекрасный, волнующий мир, в котором жить человеку и радоваться, встает со страниц сборника. Но мир отнюдь не благодатный, о чем поэт пишет так же мудро и проникновенно:

В жизни нет и дня без
вечной драмы,
чья-то память есть в чужих
вещах,
навсегда уходят чьи-то
мамы,
сыновьям седины завещав.
Ходят рядом радости и
стоны,
обогнать друг друга не
спешат.
Где-то сыновья, не сдав
кордоны,
матерей осиротив, лежат.

Не сдав кордоны... Сказано не ради красного словца. Николай Кузнецов — журналист, газетчик — знал таких людей. Знал он и известных ныне всей

стране героев — коммуниста Владимира Котешкова и комсомольца Николая Грибова. Трактористы погибли несколько лет тому назад на карагандинской земле, опахивая хлебное поле совхоза «Щербаковский» от наступающего пожара. Памяти отважных людей посвятил поэт благородное, мужественное стихотворение — «Быль про огненных трактористов»:

Их имя будет,
как приказ:
«В бою не отступи!»
На перекрестке хлебных трасс —
памятник в степи.

Этими сильными, идущими из сердца строками завершается сборник, который сам, в свою очередь, станет скромным памятником доброму, искреннему поэту Николаю Кузнецову.

ХЛЕБ И ПЕСНЯ

Чье сердце не дрогнет от радости при виде бесконечного потока отборного, весомого зерна, венчающего собой по осени упорный труд земледельца! В год юбилея освоения целины подвиг хлеборобов предстает перед нами во всем своем величии и красоте. И в полный голос воспевают его поэты Советского Казахстана, для которых тема целины всегда была и остается волнующей и близкой. В этом читатель вновь убедится, познакомившись с небольшой, отлично оформленной книгой «Целинная пива», посвященной 25-летию освоения целины (Алма-Ата, «Жазушы», 1979).

Открывается сборник словами из книги Л. И. Брежнева «Целина»: «Для деятелей литера-

туры и искусства нет более интересной и вдохновляющей задачи, чем отображать подвиги народа, в том числе на целине».

Здесь представлены произведения тридцати четырех казахстанских поэтов. Молодые литераторы вслед за старшими товарищами по перу как бы становятся в рабочий строй, продолжая поэтическую летопись славы. Начинается она ранней весной 1954 года, когда молодежь по зову партии, по велению сердца отправилась с насиженных мест обживать новые, неизведанные края. Задорно, молодо запечатлел тот памятный момент аксакал казахской поэзии Абдильда Тажибаев:

Подминая под себя
степной простор,

скорый рвется,
воздух рвет,
как метеор.

Все дороги впереди ему

он везет творцов цветущей
целины.

Вперед,
где свет струится голубой,—
наше знамя полыхает,
рвется в бой,
звезды неба увлекая за собой.

(«Говорит комсомолец».
Перевод М. Луконина)

«Первый эшелон на целину» — так назвал свое стихотворение Валерий Прокуров. Он и сам был участником целинной эпопеи, одним из тех, для кого началась она «с паровозного гудка». Мчится сквозь ночь первый эшелон с юными завтрашними новоселами:

Он идет не по приказу —
по велению сердец.
Что же вас, зеленых, гонит

в неуют, бурян и дождь?
...Только надпись на вагоне,
как в гражданскую —
«Даешь!!!»

Преемственность поколений, продолжение молодёжью традиций отцов — ведущая тема многих стихотворений сборника.

В лирическом ключе написаны полные свежести, солнечных красок миниатюры Халижана Бекхожина — «Колышутся пушистые колосья» и «Урожайные снега». Переводчик В. Цыбин сумел передать особенности авторского мироощущения, сохранить яркий колорит его поэтических образов. Одно меткое сравнение — волнующихся на ветру колосьев с «пучками тонкими уки» («уки» в переводе с казахского — перья филина, украшающие головной убор девушки), — а как озаряет оно строку, как много дает нашему воображению! Третье стихотворение Х. Бекхожина «Ходил по земле человек» посвящено «землепашцу Мукану» — Мухамеджану Ерлепесову. И таково свойство настоящей поэзии — образ конкретного человека как бы поднимается над обыденностью, обретает черты батыра — героя народного эпоса.

Перекличку с юностью продолжает Гафу Каирбеков. Его «Поэму о миллиарде», стихотворения «Хотя еще метет зима...» и «Горсть зерна» перевел Олег Шестинский. На вопрос сына: «Как человеческой рукой засеян край большой такой?» поэт отвечает широко, показывая истоки целинного подвига, братскую дружбу советских народов:

Ведь степь — не только
 хлеб большой —
людей с красивою душой
у всей державы на виду
растила в знойную страду.

Здесь был, наверно,
край земли...

И, тихо шествуя за нами,
как аксакалы, ковыли
качают мудро головами.
И кажется, ветра веков
седые бороды щетинят...
И, как ладони мужиков,
земля изрезана морщинами,—

пишет он о родной степи, как бы оглядывая ее с вы-
соты орлиного полета («Степная родина»).

А сколько нравственной чистоты, проникновен-
ности в его короткой «Балладе о хлебе»! Сколь мно-
го скажет она и бывалому человеку, и юноше. Это —
напоминание про «трудный военный хлеб, тоскли-
вый, как очередь».

Семьдесят стихотворений составляют сборник, и
обо всех, понятно, не скажешь. Пусть же обратится
к ним вдумчивый читатель.

ПЕРЕКЛИЧКА ПОБРАТИМОВ

Я славлю
Вечный мост
Москва — Гавана

И встречное
Движенье по нему.
С. Смирнов.

Советская страна, я отдаю
тебе судьбу рассветную свою,
ты указала Кубе верный путь,
с которого нам не свернуть.
Н. Гильен.

С ключевых, глубинных, отмеченных ярким ин-
тернационалистическим пафосом стихотворных ци-
тат и хотелось бы начать заметки о необычном,

двуязычном поэтическом сборнике «Москва — Гавана. Гавана — Москва» (Стихи советских и кубинских поэтов. «Прогресс», М., 1977 г. Составители А. Смольников, А. Аухьер, Н. Булгакова, Э. Диего).

Подготовленный по инициативе Московской писательской организации совместно с кубинскими друзьями сборник представляет собой антологию, которую составили произведения советских поэтов о Кубе и кубинских — об СССР. «Лирической переключкой побратимов», где «звонко, на высокой ноте радости, доверия и боевой дружбы» звучат голоса поэтов двух стран, называет эту книгу в своем предисловии Алексей Сурков.

...Прошло полвека с тех пор, как в русской поэзии, в знаменитом стихотворении Владимира Маяковского «Блек энд уайт» впервые появилось название — Гавана. И символично, что рядом с ним здесь упомянута столица нашей Советской Родины, со дня рождения остающаяся верной своему великому интернациональному долгу.

Рассказав об увиденном им в Гаване грустном случае, когда негр-уборщик, спросивший «величественнейшего из сахарных королей», почему «белую работу делает белый, а черную — черный», получил в ответ оплеухи, поэт завершает стихи неожиданной выразительной концовкой:

Негр
 посопел подбитым носом,
поднял щетку,
 держась за скулу.
Откуда знать ему,
 что с таким вопросом
надо обращаться
 в Коминтерн,
 в Москву?

И вполне закономерно, что сборник открывает именно это, давно уже ставшее хрестоматийным, исполненное глубокого смысла стихотворение «агитатора, горлана, главаря». (Его образ, кстати, возникает на страницах книги неоднократно).

Вслед за В. Маяковским лирическую эстафету продолжают советские поэты, которым посчастливилось увидеть и узнать новую, свободную Кубу. Продолжают через полвека. Сколько событий, больших и малых, радостных и трагических, свершилось за это время в мире! На полях великой мировой и локальных войн пролилась кровь десятков миллионов людей. Погибли и возродились к жизни большие и малые города и села. Десятки народов сбросили со своих плеч ярмо колониального рабства.

Следуя героическому примеру нашей Родины, на путь социализма встали поляки и восточные немцы, чехи, словаки, венгры, румыны и болгары, народы Югославии, Монголии, вьетнамцы, корейцы.

И, наконец — кубинцы. Победа досталась им дорогой ценой, была завоевана в упорной борьбе за свободу и национальную независимость. И Народная Республика Куба, как предвестие будущих великих перемен, стала первым государством социализма в западном полушарии, а непосредственной близости с главной цитаделью капитализма — Соединенными Штатами.

Остров Свободы! «Первая свободная территория Америки»...

Революцию пришлось не только завоевывать, но и отстаивать с оружием в руках. Всем памятно название местности Плайя-Хирон, где была подавлена диверсионная вылазка реакционеров, инспирированная Центральным разведывательным управлением США.

По всему этому, внимание честных людей нашей планеты приковано к тому, что происходило и происходит на далеком, открытом для искренних друзей острове, где, кстати, не так давно с огромным успехом прошел XI Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Советские люди — младшие братья, дети и внуки тех, кто, как персонаж знаменитой светловской «Гренады», «хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать», — с трепетным вниманием следили за развитием героико-романтических событий на Кубе и, исполняя завещанный В. И. Лениным долг интернационалистов, и словом, и делом помогали кубинским друзьям в их трудной борьбе за социалистическое будущее.

Взволнованны, проникновенны в лирической перекличке голоса советских поэтов, которые, выражая волю своего народа, на разных языках братских республик передают любовь, уважение, восхищение героическими делами кубинских собратьев.

Немало поэтических имен встретит читатель на страницах антологии. В ее первом разделе, вслед за В. Маяковским, — Степан Щипачев, Ярослав Смеляков, Леонид Мартынов, Константин Симонов, Александр Прокофьев, Евгений Долматовский, Лев Ошанин, Михаил Дудин, Сергей Орлов, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Римма Казакова, Василий Федоров, аварец Расул Гамзатов, украинец Дмитро Павлычко, белорусы Максим Танк и Рыгор Бородулин, молдаванин Петря Дариненко, черкес Исхак Машбаш и другие.

Воспитанный революцией,
Ее солдат и певец,
Я сердце дарю тебе, Куба,
Одно из миллионов сердец.

Тебе нужны мои руки?
Возьми их. Надежны они.
Винтовку они держали,
Им плуг и кирка сродни.

Тебе нужны мои плечи?
Взвали на них груз любой
И знай: они не сгибались
Под тяжестью и бедой.

А хочешь, возьми мою песню.
Быть может, она тебе
Поможет, как помогала
Родному народу в борьбе,—

мужественными и трогательными, идущими из глубины души словами от имени всех советских людей обращается к кубинским друзьям Максим Танк («Я видел Фиделя Кастро»).

Славному вождю кубинской революции посвящены также «Стихи о Фиделе» Евгения Евтушенко, «Барабаны кубинской революции» Сергея Дрофенко, «Кочинос» Алексея Смольникова, «Письмо» Рыгора Бородулина. Каждое из них отличается интересным художественным решением, вносит четкие штрихи в своеобразный поэтический портрет. Яркое впечатление производят отрывок из поэмы Евгения Долматовского «Руки Гевары», стихотворение Дмитро Павлычко «Эрнесто Че Гевара», где с большой страстью и пафосом восславляется духовная красота и мужество легендарного человека, который «шел сквозь ночь дорогой каменистой, горящим сердцем высоко света».

В «Кубинском стихотворении» Ярослава Смелякова, «Сафре» Павла Грушко, «Раздумье в рыбном порту» Льва Ошанина, «Кубинском марше» Юрия Панкратова и других мы видим сегодняшнюю Кубу, слышим ее энергичные ритмы, встречаемся с ее прекрасными, уверенно смотрящими в завтра, жизнера-

достичь людьми, чьи судьбы близки и дороги
гражданам Советской страны. Хорошо сказано об
этом поэтессой Ириной Волобуевой:

Куба, Куба, республика воли и силы,
Мы не только по праву гордимся тобой,—
Ты близка нам, как юность свободной России,
Как слова: «Наш последний решительный бой».

Сколько сердца и сколько упрямой отваги
Надо было борцам — патриотам твоим,
Чтобы двух революций здесь встретились флаги —
Их державный союз навсегда нерушим.

Пусть же всходят без гроз над тобою рассветы,
Плещет море твое в тишине ветровой —
...Как ты гордо велик на просторах планеты,
Наш собрат, Революции остров-герой!

Искренность чувств, многоцветье красок, богатство, разнообразие интонаций, широта тематического диапазона — все это отличает и стихи кубинских поэтов, которые сердечно, по-братски откликаются на голоса советских друзей.

«Советский Союз» — так называется стихотворение нашего испытанного друга Николаса Гильена (перевод П. Грушко). Поэт передает здесь чувство искреннего восхищения Советской страной, оказывающей его родному народу неоценимую помощь в строительстве новой жизни.

О великой родине В. И. Ленина пишет в небольшом поэтическом цикле «Три взгляда на СССР» Роберто Бранли. Поэту посчастливилось побывать в Москве, Ленинграде, Ереване, и для каждого из этих неповторимых, «наполненных воздухом братства» городов он находит поражающие неожиданностью, новизной метафоры и сравнения. Вот, например, строки о Ленинграде:

Твои артерии
Несут, качают, баюкают
Колыбель революции.
А за всем этим
В центре, внутри,
В самых белых тропинках Смольного,
Живет и звучит голос,
Вдохновляющий и зовущий,
Принадлежащий по праву
Вечности народа.

(Перевод Л. Щипахиной).

Сами за себя говорят названия стихотворений «Октябрь» Роберто Бранли (перевод П. Грушко), «Ленин» Родригеса (перевод А. Суркова), «Песня любви к Советскому Союзу» Давида Черисьяна (перевод С. Смирнова), «Привет Советскому Союзу» Рауля Феррера (перевод О. Дмитриева), «Добро пожаловать в Сантьяго-де-Куба, товарищ Леонид Брежнев» Хесуса Орта Руиса (перевод Р. Казаковой), «Говорю — как беседую с Вами» Хеорхины Эррера (перевод А. Преловского). Здесь с трогательной любовью и нежностью кубинские поэты создают образ Владимира Ильича Ленина, чья «твердая рука распахивает в ночном горизонте окно в сияющую зарю объединенного человечества», пишут о различных городах и республиках нашей страны, их героических традициях, сегодняшнем созидательном труде, мире и дружбе, восхищаются великим культурным наследием советского народа. «Родиной всех» называет Сигифредо Альварес Конаса первое в мире социалистическое государство. Анхель Аухьер, прощаясь с Советским Союзом, пишет:

Пылает в моих венах жар горнов,
в которых ты выплавил новые дни.
Я коснулся твоей древней земли,
Новое человечество зарождается в лоне ее,
и я повторяю: «Спасибо тебе...»

(Перевод Н. Булгаковой)

Сборник стихов «Москва — Гавана. Гавана — Москва» — яркое свидетельство крепнущих культурных связей, нерушимости уз дружбы и сотрудничества советского и кубинского народов.

КНИГА О ШОЛОХОВЕ

Книга «Слово о Шолохове»¹ открывается подборкой кратких высказываний о шолоховском творчестве Максима Горького, Александра Серафимовича, Анатолия Луначарского, Александра Фадеева, Алексея Толстого, Аветика Исаакяна, Романа Роллана (Франция), Вячеслава Шишкова, Вилли Бределя (ГДР). Любое из них могло бы служить эпиграфом ко всему изданию. Вот, скажем, свидетельство Вилли Бределя: «Среди советских писателей Шолохов — одна из ярчайших фигур, крупный художник, подлинный гуманист. Его произведения «Тихий Дон», «Поднятая целина» уже сейчас принадлежат мировой литературе».

Широко известно и горьковское изречение: «Шолохов, судя по первому тому, талантлив... Каждый год выдвигает все более талантливых людей. Вот это — радость. Очень, анафемски, талантлива Русь».

Основной раздел книги содержит статьи — «слова» о Шолохове почти девяноста современных писателей — советских и зарубежных. Статьи эти различны по объему — от развернутых и обстоятельных очерков до лаконичных, но весьма емких отзывов, таких, например, как «слово» французского прозаика Анри Труайя: «Я бесконечно восхищаюсь Шолоховым. Это великий писатель, у которого есть при-

¹ Слово о Шолохове. Издательство «Правда». М., 1973.

звание к эпосу, к трагическому действию и лирическое чувство природы.

Его книги полны неистовой силы и поэзии».

И подобно тому, как маленькие разноцветные плитки составляют огромное красочное мозаичное панно, так из материалов книги складывается очень достоверный и выпуклый портрет Шолохова-писателя и Человека, которого знают и любят во всем мире. Мы видим его глазами множества интересных людей, видим в самых различных ракурсах, в разные моменты его писательской, общественной, человеческой деятельности. Вот Шолохов — неутомимый борец за мир — выступает летом 1961 года в Стокгольме с высокой трибуны сессии Всемирного Совета мира. Вот он в родной Вешенской оживленно беседует с приехавшим к нему в гости Юрием Гагариным. Вот вместе с чешским писателем Франтишком Кубкой осматривает памятные места Праги. А вот на станичной улице ведет заинтересованный разговор с мальчишками-школьниками...

По праву старейшины, первое «слово» предоставлено в книге Константину Федину. Он произнес его в день шестидесятилетия Михаила Шолохова. Не делая обзора трудов писателя, К. Федин отметил два особенных качества всей его прозы. Громадна заслуга Шолохова в той смелости, которая присуща его произведениям. Он никогда не избегал свойственных жизни противоречий, будь то любая эпоха, им изображаемая. Его книги показывают борьбу во всей полноте прошлого и настоящего. И я, — пишет К. Федин, — невольно вспоминаю завет Льва Толстого, данный им самому себе еще в молодости, завет не только не лгать прямо, но и не лгать и отрицательно — умалчивая.

Шолохов не умалчивает, он пишет всю правду. Трагедию он не переводит в драму, из драмы не

делает занимательное чтение. Но сила правды такова, что горечь жизни, как бы даже ужасна она ни была, перевешивается, преодолевается волею к счастью, желанием его достичь и радостью достижения. И, принимая во всей глубине чувство трагедийности того или иного факта, показываемого художником, мы закрываем его книгу со светлым ощущением. Таков, в частности, великолепный заключительный том «Тихого Дона».

Другой качественной особенностью прозы Шолохова К. Федин называет благотворную преемственность национальной традиции русской эпики. Это не означает следования по дорогам и тропам, положенным нашими классическими предшественниками. Нет, Шолоховым дано эмоционально убеждающее доказательство, что прогресс в искусстве достигается органичным сродством писателя с современностью. Ценнейшее из опыта реалистического наследия художник берет свободно, когда оно не противоречит новой жизни, а служит почвой для ее роста. Такой опыт наших классиков не чужероден реализму современности, а вливается в него, способствуя созданию богатств литературы реализма социалистического.

Выдающимся мастером этой литературы и является Михаил Александрович Шолохов.

«Огонь творческой правды» — заголовок статьи Николая Тихонова. Автор, вслед за К. Фединым, считает важнейшей особенностью книг Шолохова непреклонную верность правде, отсутствие фальши и ложной романтики. В них (книгах) то, что мы называем справедливо социалистическим реализмом.

Народный писатель, летописец родной земли — так по праву называют Шолохова. Но, — подчеркивает Н. Тихонов, — в книгах Михаила Александровича живет и та особая широта, которая сделала их

всемирно известными. В этих книгах проходят процессы небывалого исторического значения. В них и картины гражданской войны, и коллективизация, и Великая Отечественная война. В них самые большие вопросы, которые стояли не только на Дону. «...Пусть еще много лет огонь большой творческой правды светит из маленькой станицы Вешенской всему большому миру, всему передовому человечеству!» — таковы заключительные слова статьи.

Немало вдохновенных страниц, полных горячей любви и признательности Михаилу Шолохову, написано видными представителями литератур братских советских республик. Среди авторов «Слова о Шолохове» читатели встретят имена Олеса Гончара и Петруся Бровки, Ираклия Абашидзе и Гургена Борjana, Кайсына Кулиева и Эдуардаса Межелайтиса, Ивана Мележа и Шарафа Рашидова.

Естественно, у каждого из них — своя, особенная интонация, свое ощущение шолоховского творчества, осмысление его масштабности и глубины. Однако (и это в высшей мере знаменательно!) литераторы разных национальностей считают Шолохова своим учителем, поистине народным писателем — по сущности своей, по слитности с народом, по тому признанию, которое завоевал он в сердцах людей.

Образно и искренне написал о живых истоках творчества мастера поэт Кайсын Кулиев: «Горцы говорят: когда тебе тяжело, прижмись щекой к земле — тогда станет легко, снова ты будешь сильным. Мне кажется, Михаил Шолохов так и поступает. Без любви к земле, к нашему общему дому, без любви к человеку не может быть творчества.

Я люблю суровый реализм и могучую поэтическую крылатость Шолохова, неукротимую земную силу его творчества. Легче жить и работать, когда

рядом с тобой живет такой большой художник слова».

Для казахстанских почитателей шолоховского таланта особый интерес, безусловно, представляют страницы, повествующие о связях Михаила Александровича с Казахстаном. Здесь прежде всего следует назвать статью «Единокровный брат мой», написанную выдающимся деятелем казахской литературы Сабитом Мукановым. На протяжении долгих лет он много раз встречался и беседовал с Шолоховым — на писательских съездах и пленумах, на совещаниях и в издательствах, в гостинице «Москва» и в Алма-Ате.

В 1938 году, в дни празднования семидесятилетия песенного творчества Джамбула, Михаил Александрович из станицы Вешенской по телеграфу поздравил акына: «Покоренный Вашим могучим талантом от всего сердца благодарю за радость, доставленную Вашими песнями. Шлю Вам сыновний привет и горячее пожелание здоровья, бодрости и сил».

«Как мы были благодарны тогда Шолохову за искренние эти слова!» — признавался С. Муканов.

И разве не перекликаются с ними слова из песни нашего великого акына:

Тихого Дона родные сыны,
Вы и Джамбулу родные сыны.

Автор так объяснял заголовок статьи «Единокровный брат мой». Первый казахский просветитель, большой ученый, офицер русской армии и душевный друг Достоевского Чокан Валиханов еще в середине прошлого века в одной из своих работ говорил, что казахи — кровные родственники русских.

Развивая эту тему, С. Муканов снова обращался к Валиханову и напоминал о том, что еще в Омском

кадетском корпусе Чокан сблизился с казаком Г. Н. Потаниным. Шли годы. Подростки-кадеты стали учеными, общественными деятелями. Юношеская дружба не ослабла, а наоборот, стала еще глубже, еще крепче. «Для меня,— писал Сабит Муканов,— она высокий символический пример нерасторжимой дружбы России и Казахстана».

Наше время, как никогда, богато примерами нерасторжимой дружбы — ленинской дружбы народов, культур, людей труда. У казахов есть слово «тамыр». Буквальный его перевод — корень. Без тамыра не жить растению. И этим же словом в народе обозначается дружба между казахами и русскими.

В Казахстане у М. А. Шолохова множество тамыров. Казахи читают его книги и в оригинале, на русском языке, и в переводе на родной, казахский. Первый том «Поднятой целины» издан на казахском языке в 1936 году. Творческими усилиями наших литераторов Хасена Узденбаева и Кадыра Тайшыкова «Поднятая целина» стала настольной книгой трудящихся республики. Переведены «Тихий Дон» и «Они сражались за Родину», «Донские рассказы» и «Судьба человека...»

Одни из миллионов читателей, безмерно любящих Шолохова, Муканов, по его словам, читал книги Михаила Александровича с карандашом в руках, покорялся волшебной силе таланта, редкостному мастерству воспроизведения жизни.

В заключение своей статьи Сабит Муканов привел поистине примечательный эпизод. На III съезде писателей Казахстана, который проходил в сентябре 1954 года в Алма-Ате, Шолохов сказал:

— Настоящая дружба обнаруживается в годы больших испытаний. В тяжелое время Отечественной войны моя семья нашла горячий прием у казах-

ского народа — о ней заботились по-родственному.

Сказал, приложил руки к груди...

О пребывании Михаила Александровича в Казахстане обстоятельно, с живыми, интересными деталями и подробностями рассказывает также в своих заметках «Среди друзей» журналист Петр Гавриленко. Познакомился он с Шолоховым в грозном 1942 году в западно-казахстанском городе Дарьинске, где жила тогда семья писателя. После разгрома гитлеровцев под Сталинградом семья Шолохова уехала в Камышин, а вскоре после изгнания фашистских орд с донской земли возвратилась в родную Вешенскую.

Прощаясь с казахстанскими друзьями, Шолохов обещал:

— Как только война кончится, обязательно приеду к вам. Тогда уж и с сельским хозяйством обстоятельно познакомлюсь, и порыбачу, поохочусь.

Михаил Александрович сдержал свое слово. Начиная с 1945 года, он почти каждую осень приезжал в Западный Казахстан и проводил там месяц-полтора. Здесь писатель не только отдыхает, но и много работает. «Мало кому известно,— замечает П. Гавриленко,— что в Уральске, в моей скромной квартире по улице Комиссаровской, в доме 48, переписывались первые главы второй книги «Поднятая целина». Здесь писатель правил гранки отрывков из романа перед опубликованием их в «Правде». Над ними же трудился Михаил Александрович и в палатке на берегу озера Челкар. Сын местного рыбака Х. Кдыров посвятил Шолохову трогательное по своей искренности стихотворение «Мой Челкар»:

...Здесь Шолохов в палатке до утра
Водил пером горячую рукою.

А ты, Челкар, молчал,
Ты жаждал тишины,
Баюкал лебедей,
Чтоб крепче спали.
И главы новые «Поднятой целины»
Мы в нашей «Правде»
Вскоре прочитали...

В целинном совхозе имени «Правды», — рассказывает далее П. Гавриленко, — в доме одного из своих добрых знакомых, агронома И. М. Третьяка, писатель подготовил к печати молодежное издание «Тихого Дона». А на Братановском Яру, на берегу Урала, Шолохов перерабатывал и писал новые главы романа «Они сражались за Родину»...

«Я лично считаю, — говорит известный финский писатель Мартти Ларри, — что человеку при жизни не следует сооружать памятников. Но что поделаешь, если Михаил Александрович Шолохов своим повествовательным искусством уже воздвиг себе памятник в мировой литературе».

Трудно выразиться проще и яснее. Творчество Шолохова действительно принадлежит ныне всему разноязычному человечеству. Убедительное свидетельство этого — с одинаковой теплотой и любовью написанные для книги статьи немецких литераторов Анны Зегерс и Эрвина Шриттматтера, болгарина Йордана Цонева, парагвайского поэта Эльвио Ромеро, австралийки Катаринны Сусанны Причард, индусов Мулк Радж Ананда и Чандра Р. Рао, англичан Джеймса Олдриджа и Чарльза Сноу, французов Андре Вюрмсера и Жана Катала, японки Ясуэ Миякава, норвежца Мартина Нага, югослава Бранко Чопича, суданца Хасахан Ат-Тахир Зарука и многих других.

Иначе относятся к правдивым, реалистическим произведениям Михаила Шолохова буржуазные издатели и органы реакционной прессы Запада. Ли-

тературовед Константин Прийма пишет («Тихий Дон» в Англии»), что редакторы Британской энциклопедии, например, рекламирующие свое издание как «самое свободное и независимое», более тридцати лет упорно не замечали появления на небосклоне мировой литературы Шолохова и не пропускали его имя на страницы своих изданий. Однако жизнь и мировое общественное мнение, как известно, подтолкнули Шведскую академию на свершение справедливого акта — присуждение М. А. Шолохову Нобелевской премии в 1965 году. После этого редакторы-издатели Британской энциклопедии в 1968 году посвятили автору «Тихого Дона» крохотную заметку, которая свидетельствует о том, что круги, определяющие политику на книжном фронте, продолжают придерживаться жесткого курса по отношению к Шолохову. Подтверждением этого может служить тот факт, что английские издательства «Путнам» и «Фор сквэйр бук» и в наши дни выпускают в продажу «Тихий Дон» тенденциозно, в извращенном виде.

То же самое делает и американский издатель Альфред Кнопф, который с 1934 года издает и продает в США «Тихий Дон» в урезанном виде, с изъятием свыше ста страниц шолоховского текста, причем без указания на титуле книги о сокращениях. В основном изъяты главы, в которых Шолохов развенчивает заговор царского генерала Корнилова с целью задушить революционный Петроград. Изъяты также главы о сговоре царских генералов с английской, французской и германской военными миссиями против Советов, изъято свыше пятнадцати казачьих песен и много других важных эпизодов и страниц. Но, несмотря на все это, Шолохов, по признанию национального председателя Коммунистической партии США товарища Генри Уинстона, яв-

ляется большим другом миллионов американских читателей. Сам Г. Уинстон высоко ценит «Тихий Дон» и «Поднятую целину», потому что эти произведения, несмотря на сокращения в тексте, помогли ему разобраться в сущности социализма...

В «Слове о Шолохове» есть статьи, авторы которых пишут о Шолохове-человеке, подмечают те или иные черты его характера, приводят любопытные эпизоды и подробности встреч и совместных поездок с Михаилом Александровичем по его родному Донскому краю, рассказывают о Шолохове — гостеприимном хозяине дома в Вешенской, о его дружной семье. Немало интересного почерпнут читатели из статей «Мужественное сердце» А. Бахарева, «Новочеркасские страницы» А. Брагина, «Вешенские были» И. Экслера, в прошлом корреспондента газеты «Известия», «На огонек к Шолохову» А. Плоткина, бывшего председателя вешенского колхоза имени С. М. Буденного. «У Шолохова — школьники» московской учительницы Г. Славущевой...

Глубоко западает оно в душу — это доброе и сердечное «Слово»...

У ИСТОКОВ «ПРЕСНОВСКИХ СТРАНИЦ»

Писать о моем отце, Иване Петровиче Шухове, — дело для меня непростое. Ушел он из жизни недавно, и так и кажется, — вот сейчас зазвонит телефон и в трубке раздастся характерный, не терявший с годами энергии голос: «Илюшка, здравствуй! Ну, какие новости?»

Почти таким же, как всегда, только перебиваемым сильной одышкой, был этот дорогой для меня

голос и в тот, самый последний апрельский вечер. Отец говорил о простом, будничном, ни словом не обмолвился о самочувствии; как обычно, мы пожелали друг другу спокойной ночи.

Тот день он безвыходно провел дома, много сидел на кухне, с удовольствием пробовал какие-то нехитрые, домашнего приготовления кушанья, нахваливая их и благодаря хозяйку за хорошее угощение, благодаря с какой-то особой умиротворенностью, чего с ним никогда раньше не бывало. Время от времени заглядывал в гостиную, в кабинет, снова возвращался, не находя себе места. Трижды звонил мне. Наверное, прощался... Вечером, уже в десятом часу, вызвал такси — ехать к сестре (собирался с утра, да почему-то все откладывал), сел на заднее сиденье. Сколько он поездил, полетал на своем веку, сколько побродил и по своим, и по чужеземным дорогам! На этот раз — не доехал: отказало сердце...

Писать об отце нелегко потому, что он известен как большой, своеобразный художник, и, понимаю, вот об этом-то, об этом и надлежит мне прежде всего вести речь. А тут идут в голову не ахти какие значительные эпизоды, мелкие бытовые детали и подробности. Просеять бы их сквозь воображаемое сито, отобрать то, что характерно и важно: литературные оценки, отзывы, замечания о книгах, о творчестве, о писательском «ремесле». Но как это сделать? Специальных, прямых литературных разговоров мы, пожалуй, никогда не вели: еще с детских лет исподволь, незаметно возникло у меня (и сохранилось навсегда) ощущение пиетета, несокращаемой дистанции между собою и отцом; с годами ощущение это становилось все более глубоким, и я никогда не позволял себе вторгаться в сокровенный художнический мир, именуемый обычно творческой лабораторией писателя. Ведь писательство было его

«святая святых», это я понял еще в ранней юности, и в последующие годы не раз имел возможность в таком убеждении укрепиться.

Творчество, писательство отец называл просто — работа. Он не принадлежал к числу тех, кто следует правилу: ни дня без строчки. За время, что на моей памяти, бывали у него периоды напряженнейшего, иступленного художнического труда (в 1959 году, вернувшись из США, отец за два с половиной месяца написал книгу «Дни и ночи Америки»); случались, наряду с этим, и затяжные, подспудно (он об этом не говорил, но мы, близкие, догадывались и чувствовали) угнетавшие его простои.

В записках С. А. Толстой «Моя жизнь» («Новый мир», 1978, № 8) приводится высказывание Льва Толстого: «...главное, в человеке талантливом должна быть любовь к своему искусству, оно должно мучить его и доставлять наслаждение. Эта любовь-то и есть дар божий, искра небесного огня, который делает из человека великого художника».

Прочитав эти слова, я как-то произвольно подумал об отце. Знакомясь с его письмами конца тридцатых — начала шестидесятых годов, посланными в большинстве своем в Алма-Ату из Пресновки, с особой остротой ощутил то, что было основой его сущности, — всегдашнюю неуспокоенность души, вызванную «любовью к своему искусству» — источнику радостей и тревог, мучительных сомнений, доводящих порой «до ненависти к своей профессии», одним словом, — к творчеству, которым он, действительно, жил и горел.

В посланиях из своего северо-казахстанского далека моей матери Евгении Александровне Рязанской он сообщал: «Бывает, по ночам, я и плачу и смеюсь вместе со своими героями, которые живут, страдают, любят, сражаются и ненавидят с той пре-

дельной чистотой и искренностью, на которую способен только наш народ». Не раз жаловался: «Не с кем посоветоваться. Все обязан решать в полном одиночестве со своей совестью, со своим вкусом... Мне очень хотелось бы почитать кому-то эти бесконечно дорогие для меня страницы, проверить, так ли уж это хорошо и правдиво, как мне кажется...» «Очень трудно, очень трудно даются все же настоящие слова».

И однажды в горькую минуту Иван Петрович признался: «Нет, скверное это дело быть писателем! То кажется все превосходным, а то до того беспомощным и бездарным, что волосы дыбом...» «Все-таки, очень и очень жестокая вещь искусство. Оно требует от нашего брата полной отреченности, внутренней собранности и совершенно чудовищной работы». И снова: «Знаешь, как трудно, т. е. медленно я пишу. Но зато как хорошо! С какой радостью я работаю!» «Хорошо сказано у Паустовского о Пушкине: и счастлив и несчастлив в одно и то же время. И горько от одиночества, и хорошо от того, что хорошо работается, что приходят настоящие слова, что иногда разволнуешься так, что писать некоторое время просто не можешь».

Кстати, в журнале «Рост» отец писал: «Так же, как и над первым романом, сидел я над «Ненавистью» 8 месяцев без передышки. Но работа давалась уже труднее. Так, некоторые главы — собрание в юрте и на хуторе, соревнование на уборке и концовка — переделывались до 18 раз — 18 рукописных вариантов этих глав лежат в моих папках».

Да, безусловно, жила, не гасла в Иване Петровиче мучительная и сладостная любовь к своему искусству, та самая «искра небесного огня», которую природа от века дарует далеко не каждому.

Одиннадцать лет Иван Петрович редактировал

журнал «Простор», который быстро приобрел широкую известность и занял в его жизни большое место, став своеобразным стимулятором творческой и гражданской активности. За эти годы на страницах журнала вместе с произведениями казахстанских литераторов было напечатано немало вещей, принадлежащих перу известных всей стране писателей Москвы, Ленинграда, союзных республик, прогрессивных зарубежных авторов. Отец прилагал для этого много усилий и радовался, как ребенок, если, выезжая в столицу или на берега Невы, удавалось заполучить для «Простора» что-нибудь интересное. А такое время от времени действительно удавалось, потому что с давних пор у него сложились теплые дружеские отношения с широким кругом литераторов из разных уголков нашей родины.

Достаточно вспомнить хотя бы вот эту телеграмму, которую Иван Петрович отправил однажды из Москвы сотрудникам журнала: «Дайте двенадцатой книжке анонс Грэм Грин Ведомство страха повесть десять листов тчк неизвестные страницы Бунина тчк три неизвестных рассказа Аверченко тчк воспоминания Эренбурга Фадееве и Назыме Хикмете тчк все рукописи привезу приветствую всех наших Шухов».

Любовно, можно даже сказать, трепетно относился он к Александру Трифоновичу Твардовскому. Любил его как талантливого поэта и человека честного, искреннего, по-крестьянски прямого и крепкого духом. Их связывало глубокое внутреннее родство.

В пору своего редакторства Шухов внимательно, участливо следил за работой Александра Трифоновича на посту главного редактора «Нового мира», многое брал для себя за образец, сопереживал его радостям и невзгодам. Очень дороги были отцу в

Твардовском его душевная открытость и сердечность и простота.

Читал он все, что появлялось об Александре Трифоновиче в журналах после его кончины. Большое впечатление произвели на него воспоминания Алексея Кондратовича, долгое время работавшего бок о бок с Твардовским.

Однажды (за год или полтора до смерти) отец утром рассказал, что ему приснилось, будто бы срубили одну березку. «Знаешь, у Твардовского еще есть стихотворение про нее?» И как-то грустно, растерянно посмотрел на меня...

Кондратович и другие, говоря о редакторской объективности Александра Трифоновича, приводят и такой случай. Твардовский как-то попросил членов редколлегии прочитать одну, предложенную для журнала поэму Леонида Мартынова, читал сам и дал «добро», хотя поэтическая манера Мартынова не была ему близкой. Так же поступал и отец: личную неприязнь никогда не переносил на авторов, не диктовал, не злоупотреблял своим авторитетом, воздерживался от запугивающих решений, всегда советуясь с «ребятами», как он называл просторовцев.

С принципиальностью и гражданским мужеством отстаивал отец вещи значительные, интересные. Теперь, скажем, приятно время от времени встречать в примечаниях к произведениям Платонова, Каверина, Казакова, к изданиям стихов Мандельштама, Эренбурга ссылки на первые публикации в журнале «Простор». И в том, что они впервые появились тогда именно на страницах этого журнала, отразилась глубокая заинтересованность редактора в поддержании престижа нашего казахстанского литературно-художественного и общественно-политического журнала, приобретшего к тому времени настоя-

шую популярность у самого широкого круга читателей.

В то же время он проявлял неколебимую твердость и принципиальность, давая решительный отпор тем, кто пытался «подсунуть» журналу свой, отвергнутый другими печатными органами недоброкачественный литературный «товар».

Конечно, чтобы разбираться в огромном потоке присылаемого в редакцию материала, уверенно ориентироваться в нем, выбирая ценное и отсеивая зерна от плевел, требовались большая эрудиция, тонкое, безошибочное литературное чутье. Все это у отца было, выработанное годами и десятилетиями творческого труда, напряженной, непрекращавшейся умственной работы.

Приходилось мне встречать высказывание о таланте самообразования у Есенина. Подобным талантом, несомненно, обладал и Иван Петрович. Вот что он писал 8 мая 1929 года из Ялты другу юности Василию Ефимовичу Квитко: «Часто смотрю на голубые воды, границы которых непостижимы для человеческого разума, и вспоминаю изумительную нашу встречу на пыльной степной дороге. «Неисповедимы пути твои, господи», — говорит Иван Бунин. Знаешь, Васенька, лучший это писатель, которого забывают старики и которого не знают наши «безусые энтузиасты» в литературе. Ах, эти энтузиасты! Они назубок знают авторские права, спешат печататься, а не знают ни изумительных стихов Полежаева, ни бунинского очарования, ни эволюции припшвинского мастерства, развернувшегося до идеальной простоты. Я раньше думал, что литература в сущности очень веселое занятие, а теперь со страхом думаю о том, как трудно и как много надо видеть и учиться для того, чтобы стать писателем нашей многогранной эпохи. Боязнь, конечно, неумест-

на, но все же как трудно и как много учились люди и как много следует учиться нам».

И он учился. Всю жизнь. Разве не о том говорят его записи на полях множества прочитанных с карандашом книг? Помню такие пометки на страницах теперь уже старого, сороковых годов, тома «Войны и мира», пушкинского «Евгения Онегина», многих других изданий.

Недавно я внимательно просмотрел два внушительных тома толстовской эпопеи, выпущенных в Москве Государственным издательством художественной литературы в 1944 году,— те самые, что когда-то, возможно, еще в войну, перечитывал отец. Перечитывал вдумчиво, с большим интересом и, по-видимому, с какой-то обостренной новизной восприятия издавна знакомого хрестоматийного произведения: в годы войны с фашизмом оно звучало по-особому значительно и патриотично. Во всяком случае, на протяжении всего романа, от первых страниц до эпилога, не оказалось глав, где отец не подчеркнул бы цветными карандашами отдельных слов, строк, а порою и целых абзацев. Кроме того, кое-где рядом с подчеркнутым он оставил свои замечания, записал возникшие в связи с прочитанным мысли, наметки, сопоставления.

Все волновало его, вызывало желание еще раз вернуться к тем или иным фразам,— для этого они и подчеркивались,— портретные характеристики, пейзажи, философские раздумья, батальные сцены, отдельные колоритные слова и выражения. Чувствуется, эпопея Л. Толстого была чрезвычайно близка ему по духу своим размахом, широтой, правдивостью изображения народной жизни и еще очень многим, и он, вчитываясь, отмечал для себя и по достоинству оценивал толстовское художественное мастерство.

Чтобы показать это наглядно, обращусь непосредственно к тексту романа.

Ивана Петровича привлекли во второй части первого тома отдельные эпизоды батальных глав. И, видимо, не случайно. В связи с этим, не имея намерения проводить какие-либо аналогии, напомним все же, что русская армия, — не толстовской поры, конечно, а времен первой мировой войны, предреволюционных лет, — была вовсе не сторонней темой пушкинского творчества, чему свидетельство — его известный роман «Действующая армия», впервые вышедший в 1940 году и переизданный в начале 60-х.

В сцене смотра Кутузовым полка Иван Петрович подчеркнул строки: «—Смир-р-на!— закричал полковой командир потрясающим душу голосом, радостным для себя, строгим в отношении к полку и приветливым в отношении к подъезжающему начальнику» (стр. 128).

«...голубоглазый солдат, Долохов... глядел на лица проезжающих с таким выражением, как будто он ждал всех, кто не шел в это время с ротой» (стр. 133).

«— Мне что нужно, я просить не стану, сам возьму» (Долохов — гусарскому корнету Жеркову, стр. 134).

«...лошадь... перебила ногами, не зная, с какой начать...» (там же).

В главе VII карандашом отмечено:

«...кричал Денисов, видимо, находясь в припадке горячности, блестя и поводя своими черными, как уголь, глазами в воспаленных белках и махая невынутою из ножен саблей, которую он держал такою же красною, как и лицо, голою маленькою рукой» (стр. 155).

Здесь же отца восхитило описание коня Денисова — «красивого вороного Бедуина, который, мигая ушами от штыков, на которые он натыкался, фыркавая, брызгая вокруг себя пеной с мундштука, звеня, бил копытами по доскам моста и, казалось, готов был перепрыгнуть через перила моста, ежели бы ему позволил седок».

В главе VIII отметка сделана против заключительного абзаца:

«— Пустячок! — пробасил полковник, — два гусара ранено, и один **наповал**, — сказал он с видимою радостью, не в силах удержаться от счастливой улыбки, звучно отрубая красивое слово **наповал**».

Против абзаца на странице 307-й: «Сменившись из цепи, Ростов успел соснуть несколько часов перед утром и чувствовал себя веселым, смелым, решительным, с тою упругостью движений, уверенностью в свое счастье и в том расположении духа, в котором все кажется легко, весело и возможно», отец написал: «Повтор».

На стр. 313-й отметил фразу: «Он (Ростов — *Ил. Ш.*) боялся не за свою жизнь, а за то мужество, которое ему нужно было и которое, он знал, не выдержит вида этих несчастных»; на 319-й — афоризм: «Молодость не мешает быть храбрым»; на 320-й: «Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих».

Читая второй том «Войны и мира», где батальные сцены уступают место изображению жизни столичного дворянства, Иван Петрович так же часто брался за карандаш:

«...гости, как встряхнутая рожь на лопате, столпились в одну кучу...» (стр. 335); «Выпив залпом

вый бокал, он (Ростов — *Ил. Ш.*) бросил его на поля» (стр. 337); «Пьер был один из тех людей, которые, несмотря на свою внешнюю, так называемую слабость характера, не ищут поверенного для своего горя. Он перерабатывал один в себе свое горе» (стр. 345); «Не обработан, но прекрасный голос, надо обработать», говорили все. (О Наташе Ростовой — *Ил. Ш.*). Но говорили это обыкновенно уже гораздо после того, как замолкал ее голос. В то же время, когда звучал этот необработанный голос с неправильными придыханиями и с усилиями переключений, даже знатоки-судьи ничего не говорили, и только наслаждались этим необработанным голосом и только желали еще раз услышать его» (стр. 371).

На странице 456-й карандашная линия на полях пометила сразу несколько абзацев, где дается описание старого дуба, который «один не хотел подчиниться обаянию весны» и вид которого наводит князя Андрея на глубокие раздумья о смысле жизни.

В те годы, когда отец перечитывал роман, он был еще молод, любил охотиться (благо, дичи на окрестных северо-казахстанских озерах было в ту пору видимо-невидимо). Да и после войны, помню, не однажды брал меня с собой в степь, и я своими глазами видел, как он довольно ловко стрелял птицу влет из тяжелой, красивой охотничьей двустволки. Правда, трофеи, как правило, удавалось добыть редко, и, похоже, отца это совсем не огорчало: гораздо важнее для него был не результат охоты, а сам вызываемый ею спортивный азарт.

И можно себе представить, с каким пристрастием и удовольствием читал Иван Петрович толстовское описание охоты. Тут его привлекало все — и любимое присловье небогатого соседа Ростовых: «Чистое дело марш!», и эпитет «Игреневый мере-

нок» (в «Пресновских страницах» отец припомнит потом своего любимого в детстве коня—Игреньку), и клички собак, и точность, с какою эти собаки показаны: «Старый Карай, завернув голову и оскалив желтые зубы, сердито отыскивая блоху, шелкал ими на задних ляжках» (стр. 544).

А в следующей главе, где Ростовы после удачной охоты заезжают переночевать к дядюшке в его деревню Михайловку, отца вновь привлék образ Наташи, покорявший его своей непосредственностью, трепетностью и чистотой. Его восхитило то, как она с восторгом слушает Митькину игру на балалайке. И несколько ниже Иван Петрович подчеркнул абзацы:

«Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала,— эта графинечка, воспитанная эмигранткой-французенкой, этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые *pas de ch  le* давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, не изучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. Как только она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который охватил было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел, и они уже любовались ею.

Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и бархате воспитанную графиню, которая умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке» (стр. 557).

Искренностью, простотой подкупал Ивана Петровича и образ дядюшки, и он выделил фразу: «Дядюшка пел так, как поет народ, с тем полным и на-

ниим убеждением, что в песне все значение заключается только в словах, что напев сам собой приходит и что отдельного напева не бывает, а что напев — так только, для складу. От этого-то этот бессознательный напев, как бывает напев птицы, и у дядюшки был необыкновенно хорош. Наташа была и поосторге от пения дядюшки» (стр. 558).

И снова — о Наташе: «Она не умела писать, потому что не могла постигнуть возможности выразить в письме правдиво хоть одну тысячную долю того, что она привыкла выражать голосом, улыбкой и взглядом» (стр. 580).

Кстати, по словам Ивана Петровича, в молодости они вот так же, как герои толстовского романа, пели вместе с Татьяной Федоровной — матерью Сергея Есенина, сестрой его Александрой Александровной и ее мужем Петром Ивановичем Ильиным пели на стихи Есенина, и мотивы к ним придумывали сами.

И еще одна удивительная перекличка связана с Наташей Ростовой, с ее словами: «...когда так вспоминаешь, вспоминаешь, все вспоминаешь, до того доводишься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете» (стр. 567). Эти слова явно наводят на мысль об автобиографических моментах Ивана Петровича из цикла «Пресновские рассказы», где он мысленно переносится во время своего детства и с поразительной достоверностью и проникновением в психологию ребенка воссоздает годы, четырехлетнего, со своим миром чувствований, переживаний и впечатлений.

Во второй книге эпопеи, включающей тома III и IV, тоже немало отцовских пометок.

«...и началась война, т. е. совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе явление» — красный карандаш выделил эти строки

в самом начале третьего тома. Далее на протяжении нескольких глав отмечены места, раскрывающие понимание Львом Толстым роли личности в истории. А на странице 185-й отца взволновал диалог князя Андрея и Пьера Безухова, размышляющих об условиях, необходимых России для победы над врагом:

«— Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни от позиции, ни от вооружения, ни даже от числа, а уж меньше всего от позиции.

— А от чего же?

— От того чувства, которое есть во мне, в нем,— он указал на Тимохина,— в каждом солдате». Очень актуальными, животрепещущими, поднимающими дух советских людей в дни жестоких сражений с фашизмом были слова Льва Толстого о Бородинской битве. И не случайно отец подчеркнул их в тексте романа:

«Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным». И еще — на той же, 235-й странице: «Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой, Смоленской дороге, гибель пятисоттысячного нашествия, и гибель Наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника».

Да, неспроста в трудное для нашей страны время, при острой нехватке бумаги, толстовскую эпопею сочли необходимым издать таким большим, 105-тысячным тиражом...

Близки были Ивану Петровичу описания природы, состояний человеческой души — такие, например: «В лесу было прохладно, тихо и пахло осенью» (Вспомним для сопоставления строки из шуховской прозы: «...И тихо было в степи. Очень тихо».) «...стояла та необычайная, всегда удивляющая людей, осенняя погода, когда низкое солнце греет жарче, чем весной, когда все блестит в редком, чистом воздухе так, что глаза режет, когда грудь крепнет и свежее, вдыхая осенний, пахучий воздух, когда ночи даже бывают теплые, и когда в темных, теплых ночах этих с неба, беспрестанно пугая и радуя, сыплются золотые звезды» (стр. 288). «Луг, полынь, пашня, черный крутящийся мячик и его страстный порыв любви к жизни вспомнились ему» (Андрею Болконскому — *Ил. Ш.*). Его же, Андрея Болконского, размышления: «Отчего мне жалко было расставаться с жизнью? Что-то было в этой жизни, чего я не понимал и не понимаю».

Понравились отцу и слова Кутузова, сказанные по-французски и в переводе звучащие так: «Хороша ли, плоха ли моя голова, а положиться больше не на кого» (стр. 244). «Ах, как хорошо», — написал он против подчеркнутой фразы в главе о совете Кутузова с генералами в деревенской избе Андрея Савостьянова: «Малаша, которую уже давно ждали ужинать, осторожно спустилась задом с полатей, цепляясь босыми ножонками за уступы печки и, замешкавшись между ног генералов, шмыгнула в дверь» (стр. 247).

И опять внимание Ивана Петровича приковывает любимый образ — Наташи Ростовой, и вновь карандаш отмечает знаменательные слова, которые с полным правом могут быть отнесены к нему самому: «...душа ее не лежала к этому делу; а она не

могла и не умела делать что-нибудь не от всей души, не изо всех своих сил» (стр. 270).

А разве не свидетельствуют о глубокой эрудиции опубликованные в разное время в прессе его статьи и отзывы о людях, чьи имена составляют гордость и славу русской и мировой культуры!

Например, о Пушкине отец наиболее полно написал в статье «Наш современник», посвященной 150-летию со дня рождения гениального русского поэта («Казахстанская правда», 5 июня 1949 года). Начинается она вдохновенными эпическими строками:

«Россия и Пушкин!

С обнаженными головами произносим мы, советские люди, эти святые, светлые имена. Они звучат для нас символами нашей национальной гордости, выражением огромного богатства материальной и духовной культуры нашего Отечества, торжеством творческого разума бессмертной русской нации».

Далее дается сжатый, но выразительный обзор блестящих пушкинских творений, знаменовавших собой орлиный взлет к вершинам русского реализма.

Концовка статьи так же торжественна и пафосна: «Ушел в прошлое жестокий, зловещий и мрачный николаевский век. Но золотая, солнечная, жизнеутверждающая, вольнолюбивая поэзия Пушкина осталась с нами, как остался с нами и сам Пушкин...»

На 150-летие со дня рождения другого гения — Федора Михайловича Достоевского отец откликнулся статьей «Слава России», напечатанной в той же газете 11 ноября 1971 года. И снова, как всегда, нашел для этого весомые, прочувствованные слова: «Вряд ли возможно будет назвать — в истории не только великой русской, но и всей мировой литера-

туры — столь необыкновенно сложное и столь же противоречивое явление, как Федор Михайлович Достоевский. Как всякий гениальный художник, он — вне сравнений и измерений. А как человек — тоже с исключительной, неповторимой, преисполненной драматизма, трагической жизненной биографией.

Все его бессмертные творения — начиная с «Бедных людей» и кончая «Зимними записками» — пропитаны строгим, суровым раздумьем великого гуманиста и о судьбах России, и о будущем всего человечества.

Помня о некоторых идейных просчетах, ошибках и заблуждениях тончайшего психолога и мастера-реалиста, мы не отдадим его творений на вооружение нашим идейным противникам. Ибо Достоевский — это слава России. Это — ее гордость. Это — ее честь и совесть!»

Привычка к чтению с карандашом оставалась у него до последних дней. Отдельные, чем-либо затронувшие фразы отец выписывал; так или иначе печатное слово, как правило, не оставляло его равнодушным — привлекало, а порою, напротив, отталкивало. Это понятно: как и один из героев «Горькой линии», отец, сам любивший «словечко вприкуску», не мог позволить себе небрежного обращения с языком и другим не прощал этого. Особенно бурно негодовал, если при чтении попадались уродливые названия типа: Брянщина, Рязанщина, Кустанайщина, с чьей-то легкой журналистской руки допущенные некогда в речевой обиход и, к сожалению, получившие ныне полные права гражданства.

Не признавал слова «учеба», еще в детстве поправлял меня: «учение». И совсем уж не выносил славянского глагола «кушать», теряя к тем, от кого его слышал, всяческое уважение. Претило ему, ког-

да о мальчишках и девчонках говорили — «ребята»; сам он и говорил и писал — «дети», «ребятишки», а о молодых людях — «ребяты».

С иностранными словами обращался просто: по возможности обходился без них или переименовывал на собственный лад — автоб́ус, телеви́зор; снотворные таблетки «элену́м» называл иронично — «линолеум».

И — были у него такие незаемные (вернее, заимствованные у народа, у станичных казаков, а ныне забытые) слова и выражения: бастбички (пирожки), обыгаться (поправиться, прийти в себя), уросить, отстрадоваться, не в частом быванье, шель да шевель...

Все, что казалось отцу в искусстве и литературе поддельным, сердило его. Он с раздражением выключал радио, когда передавали некоторые псевдонародные, по его убеждению, песни или бойкие воронежские припевки с лихим девичьим «подвыванием»; особенно возмущали его строчки: «На целинные земельки ты лети, мой голосок».

Зато настоящие народные песни он любил и в хорошие минуты, под настроение, с удовольствием пел в кругу одностаничников: «Вот мчится тройка почтовая», «Буря мглою небо кроет», «Ах вы, сени, мои сени», старинные казачьи «Артиллеристом я родился». «Хасбулат удалой...» С упоением слушал романс «Я встретил вас...», украинскую народную «Дывлюсь я на небо», венгерскую «Журавли» («Ясным утром клик печальный снова слышу я вдали...»), русские вальсы в исполнении духового оркестра, марши «Прощание славянки» и «Тоска по родине». Из песен нового времени высоко ценил знаменитого «Орленка», «Землянку», «Темную ночь», песню из фильма «По ту сторону» — «Забота у нас такая...» В восторге был от цыганских напе-

вов. В «Пресновских страницах» об этом можно прочесть: «Несказанно тревожили, приводили в трепет, волновали меня и гортанные песни цыган Соколовского хора. Веяло от них дремучей древностью и в то же время — близким мне по духу — чем-то родным, нашенским. Седыми от ковылей степями. Мерцаньем далеких кочевнических костров в ночи. Печалью безлюдного полевого простора. И свободой. И волей. И горькой бесприютностью гонимого — невесть куда — перекаати-поля...»

Любил Иван Петрович фортепианную музыку, особенно Шопена, Бетховена, восхищался «Элегией» Рахманинова, которую стали у нас исполнять почему-то лишь в последние годы; отцу принесли однажды магнитофонную запись, и он включал ее еще и еще и, считая себя своего рода первооткрывателем этой задумчивой, действительно чудесной элегии, спешил позвать к себе просторовских «ребят», чтобы — по давней привычке — поделиться с ними своей радостью.

После поездки в Армению на большие литературные торжества отец долго находился под впечатлением от сокровищницы древней армянской культуры — храма Матенадарана, от тихой, льющейся там словно из-под самих камней и стен невыразимо прекрасной, печальной музыки.

Оркестр русских народных инструментов имени Андреева, Уральский, Сибирский и Омский народные хоры, балалаечник-виртуоз Павел Нечепоренко, пианист Святослав Рихтер — их искусство доставляло ему глубокое эстетическое наслаждение.

Он и сам свободно импровизировал на аккордеоне, фортепиано, хотя и не знал нот. И в прежние годы, пока руки не утратили былой живости, мастерски играл на балалайке, а в юности — и на гармонике.

В музыкальных привязанностях отца, как и во многом другом, было, конечно, немало чисто вкусового, странного, такого, что в своей, домашней среде мы относили к числу милых «невежеств». Он, например, не признавал скрипку, совершенно не принимал балет, из опер мог слушать только одну — «Евгений Онегин». В то же время, скажем, очень любил родственную скрипке виолончель, всегда с интересом смотрел выступления балета на льду.

Случалось, отец резко менял свои привязанности, мнения о тех или иных явлениях искусства и литературы. Из множества стихотворений Симонова любил давнишнее — «Ты помнишь, Алеша...», даже прощал в нем «Смоленщину» — слово из рода тех, которые ни в каком ином контексте не терпел. Все это, вместе взятое, наверное, выглядит удивительно, хотя, если вдуматься, тут тоже по-своему сказывалась цельность отцовской художнической и человеческой натуры: он бывал переменчивым в мелочах, пустяках, но никогда — в крупном, глубинном, значительном.

Обладал Иван Петрович и способностями незаурядного рисовальщика. Помню, как в детстве возторгали меня его живые, выразительные карандашные рисунки — разные звери и птицы, коты, березки, избушки с дымком над крышей; возникали они на бумаге с поразительной быстротой и безо всяких предварительных набросков.

Словом, природа подарила отцу не один лишь писательский талант. Сам же он говорил, что ему всегда казалось непостижимым наиболее абстрактное из всех искусств — композиторское, и признавался, что, умея он сочинять музыку, наверное, чувствовал бы себя счастливым.

Хотелось бы еще добавить, что музыку и пение он почитал только негромкие, камерные. Да и вооб-

ще не признавал в искусстве, в жизни и людях ничего напыщенного, кричащего, рассчитанного на внешний эффект. Однажды, зная любовь отца к крупным настенным календарям (их у него в квартире висело несколько), я сказал, что увидел большой красивый численник в витрине одного известного ему газетного киоска. Он обрадовался и, не откладывая, в тот же день купил календарь. Это оказалось роскошное, сверкающее глянцем издание, выпущенное под эгидой ЮНЕСКО, иллюстрированное яркими видами Швейцарии. Однако, к моему огорчению, календарь ему не понравился, и он отложил его в сторону, сказав: «Тут все — горы да горы, а я их не люблю». А, впрочем, я этому особенно и не удивился, зная, что всякая заманчивая для многих мишура его, напротив, всегда отталкивала. Он, например, отлично, со вкусом одевался, заказывал костюмы лучшим портным, но при этом избегал любых украшений — запонок, галстучных заколок и прочих блестящих безделушек.

Зато всегда его тянуло ко всему старинному, «пушкинскому»; на столе в рабочем кабинете он держал пару красивых карманных часов, несколько гусиных перьев да детали оставшегося от давних времен оригинального письменного прибора, какой теперь можно увидеть, пожалуй, лишь в музеях и фильмах по произведениям русских классиков. А на низеньком, хохломской росписи столике здесь же в кабинете лежали компактный, напечатанный на тонкой бумаге еще в прошлом веке томик Карамзина «История государства Российского» и «Евгений Онегин».

О книгах, составляющих скромную — два небольших шкафа — отцовскую библиотеку, постараюсь рассказать отдельно. А пока, мне кажется, будет кстати упомянуть о том, как Иван Петрович от-

носился к вещам. И тут он оставался верен себе: не заводил претенциозных, кричащих о своей цене наборов полированной мебели, создавал обстановку из чего придется, не исключая и самых заурядных изделий местного ширпотреба. Впрочем, кое-что из полированных вещей в квартире все-таки имелось — импортный книжный шкаф, например, но хозяину ничего не стоило... вколотить в его блестящую стенку обыкновенный гвоздь, чтобы повесить туда календарь.

Из принципа не покупал он также хрустальных и фарфоровых сервизов, которые иные хозяева стремятся для престижа обязательно выставить напоказ в гостиной, не единожды не извлекая своей музейной посуды из сервантов и горок: как бы, упаси боже, чего не разбить. Отец же оформил сервант в собственном вкусе: самыми примечательными вещами тут были — набор расписных деревянных ложек, туесок из бересты (его он время от времени заливал водой, чтобы не рассыхался) да... настоящий клык моржа, подаренный ему кем-то. И еще — на серванте и в кабинете всегда стояли стебельки степной полыни.

Единственное, за чем он постоянно охотился, были эстампы; всякий раз он привозил их отовсюду: из Москвы, Ленинграда, из Таллина — города, к какому в последние годы сильно привязался душой. Вот и в день кончины он говорил мне по телефону о желании снова побывать на берегах Невы, проехаться оттуда в Таллин, к морю. Как всегда, когда речь шла о каких-либо планах, добавлял осторожное: «Жив буду».

На эстампах в гостиной и маленьком кабинете — любимые хозяином, напоминавшие о милом его сердцу Северном Казахстане неброские пейзажи: сжатое пшеничное поле, стога, замеченные снегом

избушки, березки на свежем ветру. Есть и акварель; на ней — сельская околица летним вечером, на фоне заката — несколько фигур — старики, дети; семья крестьянина вышла перед сном посидеть на лавочке у плетня, отдохнуть после трудов праведных.

По просьбе отца, в последние годы друзья увеличили и вставили под стекло несколько редких, можно сказать, уникальных фотографий из его личного архива. Снимками этими он очень дорожил — подарены они были в разное время известными, духовно близкими ему людьми: поэтом Павлом Васильевым, сестрой Есенина Александрой Александровной, Алексеем Алексеевичем Игнатьевым — человеком необыкновенной судьбы, автором знаменитой книги мемуаров «Пятьдесят лет в строю». Отец очень ценил эту книгу, не единожды ее перечитывал, собирался в будущем написать об Игнатьеве в своем автобиографическом цикле и, вероятно, сделал бы это, если бы не внезапная смерть. Он успел поведать о встречах с Алексеем Максимовичем Горьким, его женой и другом — Екатериной Павловной Пешковой, о дружбе, которая более сорока лет связывала его с семьей Есениных. Рассказал и о матери поэта Татьяне Федоровне, неграмотной, но одаренной, знавшей многие стихи сына наизусть и «с поразительно тонкой музыкальной чуткостью» подбиравшей мотивы напевов к есенинским текстам. «Чаще всего, — пишет отец, — певали мы с Татьяной Федоровной, Александрой Александровной и мужем ее — Петром Ивановичем Ильиным такие есенинские стихи, как «Вечер черные брови насопил», «Есть одна хорошая песня у соловушки», «Голубая кофта, синие глаза». А позднее — полюбившуюся всем нам песню Павла Васильева «Ты скажи-ка мне, сестра», мотив которой мы сложили сами. Павел Васильев, часто встречаясь с нами, охотно присоеди-

нялся к нашему хору и подпевал своим «золотым, ямщицким, ярмарочным голосом».

Павлу Васильеву отец посвятил «Мою поэму»

Мы знали годы
Гроз и зноя.
Пожаров.
Ливней.
И смерчей.
Разгул кулацкого террора
Средь настороженных ночей.
Слиты были тупые пули
В подполии и в нашу честь,
Не разумею я — бог весть,
Как нас тогда они минули!

Здесь все достоверно: в дневниковых записях Ивана Петровича, сохранившихся со времен его молодости, есть и пометка о готовившемся на него разъездного корреспондента газеты, кем-то из куликов покушении. Кстати, отыскался и характерный документ тех «ушедших в легенду годов», отпечатанный на бланке «Уральской областной крестьянской газеты».

«В Полномочное Представительство ОГПУ
по Уралу
Сотрудника «Крестьянской газеты» *И. П. Шухомин*

З а я в л е н и е

Ввиду того, что мне — разъездному корреспонденту «Крестьянской газеты» — по роду своей службы приходится разъезжать по самым глухим местам Уральской области и нередко сталкиваться с лицами, которые не совсем доброжелательно, а иногда и враждебно относятся к работникам печати, считаю необходимым приобрести для себя оружие.

Прошу вас дать мне разрешение на право приобретения и ношения револьвера системы «браунинг».

За мою политическую благонадежность поручаются нижеследующие товарищи — члены партии, работающие в редакции «Крестьянской газеты»

Зам. редактора *В. Орлов*

Секретарь редакции *А. Павлов*

Наш зав. отделом крестьянских писем *П. Велин*.

Среди редкостных фотографий отцовского архива находится и та, где он снят вместе с Павлом Петровичем Бажовым, с кем сотрудничал во второй половине двадцатых годов в екатеринбургской «Крестьянской газете». Историю этого снимка Иван Петрович не рассказывал, и о «Крестьянской газете» той поры я узнал косвенно, из интересной книги воспоминаний «Ушедшие годы» известного литератора и критика Марка Борисовича Чарного, которая также стоит на книжной полке в кабинете отца.

«В 1923—24 годах,— пишет Чарный,— группа екатеринбургской литературной молодежи была послана в Екатеринбург для укрепления уральской печати. Виктор Кин работал редактором комсомольской газеты, потом его сменил Владимир Ермилов; мой товарищ по институту журналистики и «Рабочей газеты» Алексей Поликашин (журналист, поэт, потом известный полярик) был назначен редактором крестьянской газеты; Леопольд Авербах, впоследствии руководитель РАПП, и я работали в «Уральском рабочем».

Между прочим, в «Крестьянской газете» Поликашин сотрудничал один старичок («старичок» — это по нашим тогдашним понятиям двадцатилетний), невысокий человек с окладистой бородой, тихой, петропливой речью и добрыми глазами. Он был чуть ли не вдвое старше нас...

Помню, Алексей мне как-то сказал:

— Забавный старик... Ты приглядишься к нему. Целый день копается в крестьянских письмах, которые приходят в редакцию.

Это был Павел Петрович Бажов, в котором никто не подозревал тогда отличного писателя и кудесника народного слова».

Именно таким, как здесь описано, и выглядит Бажов на фотографии с двадцатилетним Иваном Петровичем, начинающим литератором, работавшим в «Крестьянской газете» разъездным корреспондентом.

А как все-таки жаль, что отец не успел рассказать про Игнатьева! Ведь их связывало многое, о чем говорит и посвящение на подаренной Алексеем Алексеевичем книге. Эта надпись воспроизведена и на его фотопортрете: «Любезному Ивану Петровичу Шухову — родному по чувствам и к старой и новой героической Сибири. На добрую память от товарища по перу».

Сергей Есенин запечатлен в родной деревенской избе; молодой, элегантный, улыбающийся, он гадал на ладони похожей на него угловатой девочки-подростка в простом ситцевом платице. Читаем под снимком: «Ваня! Ты меня помнишь чуть постарше, чем я здесь. Хочу, чтобы ты всегда меня помнил именно такой. 10.III.64. Шура Есенина». С нею отец переписывался до конца дней и, приезжая в Москву, считал своим долгом навестить дорогую для него еще с юности, милую семью. В последний раз он гостил у Есениных весной 1977 года. Перед расставанием Александра Александровна, по русскому обычаю, передала с ним в Алма-Ату гостинец — банку домашнего варенья. Прилетев домой, с трудом поднявшись на третий этаж (одолевала одышка), отец открыл чемодан, торопясь вручить московский дар, и... опешил: банка оказалась разбитой на

мелкие осколки. Он растерянно и отрешенно посмотрел на нас, не зная, что и сказать: так остро, видимо, кольнуло его в ту горькую минуту тяжелое предчувствие. Произошло это лишь за несколько дней до крайней черты, — последнего дня апреля. Смятение отца тогда мгновенно передалось и нам: уж очень необычной была его реакция на случившееся. Ведь раньше, когда ненароком билась в доме посуда, он только радовался этому, приговаривая: «К счастью!»

С квартиры этой он так и не съехал, хотя, из-за беспрерывного шума, жить в доме у перекрестка двух запруженных машинами улиц с каждым годом становилось все беспокойнее, а работать — труднее. Да, впрочем, здесь он почти и не работал; обыкновенно, когда писалось (чаще всего — поздней осенью или зимой) — уезжал в горы, на дачку возле Дома отдыха ЦК. Там создавались последние его вещи — повести «Колокол», «Трава в чистом поле», «Отмерцавшие марева». А над книгой «Дни и ночи Америки» он работал в одной из комнат редакции «Казахстанской правды», любезно предоставленной на время близким другом, тогдашним редактором газеты Федором Федоровичем Боярским в старом, плотно населенном разными учреждениями здании на улице Советской. Несколько недель отец регулярно, как на службу, являлся туда, а домой уходил позже всех, иной раз засиживаясь за машинкой до ночи. Книгу эту написал он на едином дыхании, с поразительной быстротой — так захлестнули его впечатления заокеанского путешествия.

О чувствах, какие испытывал перед той поездкой, он написал мне из Москвы в письме, датированном третьим августа 1959 года. Вот выдержки из него:

«Здравствуй, Илюшка!

И порадовал и рассмешил ты меня хорошим своим письмом — спасибо. Перед таким далеким, фессарическим моим путешествием мне особенно дорого каждое слово близких, родных людей. Как, говорят, на чужбине обостряется чувство любви к родной земле, так обострилось и у меня чувство привязанности к дому, к семье теперь, в ожидании полета и такую далекую, загадочную страну...

Путешествие это очень волнует меня. Тем более, что я и мечтать-то прежде не мог о нем. И вдруг — перелет через Атлантику. Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Буффало, Вашингтон, Сан-Франциско! Все это кажется малореальным, неправдоподобным».

Патетическая взволнованность не помешала ему в том же письме привести, разрядки ради, один американский анекдот об электронной машине: «Мистер Джек Смит спросил у машины:

— Прошу ответить, если уж ты такая умная, где сейчас находится мой папа?

Машина, пощелкав кнопками, ответила:

— Ваш папа, мистер, сейчас сидит босиком на берегу Гудзона и удит рыбу.

— Ну и — дура! Мой папа — Джордж Смит — сенатор от штата Огайо. Он сию минуту — в сенате, где произносит речь, а не удит рыбу!

— Это точно, мистер: Джордж Смит — действительно сенатор. Он сию минуту действительно произносит речь в сенате. А ваш папа все же ловит-таки рыбу на берегу Гудзона!»

...Несмотря на быстроту своего появления, книга, по мнению читателей и критиков, оказалась достойной отцовского пера. Кто знаком с ней, знает, что тут своеобразно и свежо, публицистически накаленно и в то же время глубоко лирично переданы впечатления и раздумья об увиденном в совсем мало

иной и ту пору советским людям заокеанской стране. И, думаю, вряд ли я смог бы добавить сейчас что-либо из тогдашних устных рассказов отца об удивительной поездке: книга вобрала в себя практически все. Помнится, он с большим одобрением говорил о простоте американцев, проявляющейся, в частности, в том, что многие молодые люди, вышедшие из состоятельных семей, не чужаются порой самого прозаического труда.

Еще одна черта, которая нравилась отцу в американцах, — динамичность, присущая, кажется, всем жителям этой страны, независимо от их возраста. Он и сам всю жизнь был на редкость энергичным, любил на подъем. Раньше он мог, например, утром выдаться из Москвы, а вечером того же дня отбыть в Петропавловск, чтобы спустя какую-нибудь неделю вернуться обратно. Ему хватало всего-навсего пяти часов сна, чтобы стать, как всегда, бодрым и выносливым, прийти, как он сам говорил, «в форму». И последние годы Иван Петрович, конечно, стал ездить реже — сказывался возраст, но когда приходилось собираться в столицу или куда-нибудь еще, по-прежнему предпочитал самолет и, на скорую руку упаковывая в «чемоданишко» нехитрые свои пожитки, в течение то полчаса бывал готовым к дальней дороге.

Последний раз он летал в Москву незадолго до войны. А дело обстояло так. Позвонили из московского издательства «Современник» и сообщил о включении «Ненависти» в план переизданий в серии «Библиотека русского романа». В связи с этим просили скорее выслать расклейку книги, а также автограф автора — такого-то формата. Но он в итоге решил — лучше лететь самому, чем заниматься скучной расклейкой. Утром следующего дня он так и уехал в аэропорт.

А вот несколькими месяцами раньше, осенью 76-го, его настойчиво пытались вызволить в Петропавловск на подготовленные по полному «артикулу» в областном масштабе юбилейные торжества в честь его семидесятилетия, но он все откладывал поездку, говорил: подожду, мол, когда ляжет снег, чтобы увидеть настоящую пресновскую зиму. Однако на торжества в Северный Казахстан он так и не поехал. Прощальным визитом в родные края оказалась его поездка в Петропавловск, Кокчетав и Целиноград незадолго до семидесятилетия, летом того же года поездка, о которой, по отцовскому желанию, во избежание возможной предъюбилейной шумихи, мало кто знал. Ему просто хотелось после долгой разлуки побыть наедине с дорогими с детства степями, озерами и березовыми колками своей отчей земли, своей «малой родины». Правда, полностью «закопспирировать» ту поездку все же не удалось, но он остался ею доволен, как-то успокоившись, смягчившись душой, как это бывает у человека, исполнившего заветный долг перед самим собой, перед своей совестью. Вернувшись домой, он поставил на стол в кабинете стебельки свежей, сорванной на память где-то у степного проселка родной пепельно-серой полыни...

«Юбилейщину» же — со всей сопутствующей ей стандартной атрибутикой — он не признавал. Десять лет назад свое шестидесятилетие тоже отметил предельно скромно, дома, в тесном кругу друзей и просторовцев.

Такие дружеские домашние вечера бывали постоянными, не зависящими от юбилейных или праздничных дат; они вызывались взаимной духовной близостью, потребностью поговорить о жизни и литературе, послушать стихи, музыку (несколько лет в гостиной стояло взятое отцом напрокат отличное

Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.

С восхищением говорил о прозе Михаила Булгакова и Андрея Платонова, публикация повести которого «Джан» была предметом особой гордости и его, редактора, и всех просторовцев.

...По всему было видно: люди вокруг отца собирались мыслящие, увлеченные, безгранично влюбленные в литературу и тонко, со вкусом разбирающиеся в ней. Как сказал поэт: «Меж ими все рождало споры и к размышлению влекло...» И не только в редакционных комнатах, но и здесь, в непринужденной домашней обстановке, возникали интересные идеи, рождались творческие замыслы, которые находили потом воплощение на журнальных страницах. Наверное, все дело было в уважительной, дружеской атмосфере, располагавшей к доверительности, к шутке. Разговоры велись на равных, порой сгоряча высказывались не слишком взвешенные, размашистые суждения, которые тут же большинством голосов и отвергались. Но горячность сама по себе здесь не осуждалась, она была одной из характерных черт широкой отцовской натуры. Что здесь единодушно презирали, так это неискренность, двурушничество, мелочность и чванливость.

Всяческий рационализм отцу был чужд, и шло это не от оригинальничания, а от цельности, открытости характера, какой-то неисчерпаемой душевной щедрости, свойственной талантливым людям. Он ни к чему не относился расчетливо, не исключая даже собственного здоровья. В любой мороз и ненастье ходил без шапки, в лучшем случае, для успокоения совести, просто держал ее в руке. Дома не признавал никаких тапочек, с удовольствием разгуливал в квартире в носках, а чаще — босиком.

Помню, бывал очень недоволен, когда меня в детстве старались одеть потеплее: «И что вы его вечно кутаете?!» А в декабре 70-го написал моему старшему сыну: «С Новым годом, моя хорошая Андрюшка Шухов! Рости здоровым, нетрусливым. Не бойся ни холодной воды, ни дождя, ни пурги, ни морозов,— и будешь всегда счастливым, каким был я».

Единственное, пожалуй, житейское правило, которое отец соблюдал аккуратно — не пропускать по субботам или воскресеньям баню. Он не нарушал его, где бы ни оказывался. И хотя и дома, и в гостинице, где он останавливался, были хорошие ваннные комнаты, это не меняло дела. Ванну он принимал холодную, почти ледяную. А в конце каждой недели с утра клал в портфель березовый или в худшем случае дубовый веник и отправлялся по знакомому маршруту — в старую тесноватую баню, которую коренные алмаатинцы знают под названием Турксибовской. Тут, во-первых, редко когда не бывало пара, а, во-вторых, банщиком служил чудаковатый, улыбчивый, простодушный, как дитя, малый неопределенного возраста по имени Тима. Кстати, он стал героем одного превосходного рассказа Габита Мусрепова. С Тимой связана удивительная история, вспоминаемая нами с улыбкой и грустью.

Однажды, морозным и снежным днем, перед глазами изумленных прохожих предстала диковинная картина. По улице, не спеша, как ни в чем не бывало, шел невысокий седой человек в пальто, с портфелем и... босиком. Его повстречала одна знакомая техничка издательства и, видно, будучи слегка суеверной, окликнуть побоялась, а, придя на работу, поднялась в редакцию к моей матери и, потоптавшись у порога, спросила: «А как Иван Петрович — здоров?» — «Да ничего, вот недавно в баню ушел,— ответила та и тут же встревожилась.— А в чем де-

ло?»—«Так видала я его сейчас на улице. Гляжу, а он без ботинок прямо по снегу ступает. Уж он, часом, не того ли?»

Мать тут же позвонила домой. Диалог состоялся такой:

— С легким паром!

— Спасибо!

— Ну, как баня?

— Великолепно! Напарился...

— А потом?

— Что?

— Домой-то как добирался?

— Обыкновенно — пешком. А что, уже донесли?

— Да видели тут тебя...

Отец рассмеялся и поведал историю, какая с ним приключилась. Пока он парился, какой-то ловкач стащил его ботинки, оставив вместо них свои, ясное дело, далеко не новые. Узнав об этом, обескураженный, растерянно улыбающийся Тима искренне сочувствовал, бестолково суетился, что-то бормоча себе под нос. И тогда отец, как мог, утешил бедного банщика, решив лучше остаться босым.

Но при всем том отнесся он к происшествию иронически, не возмущался, не обличал людских пороков, а, казалось, скорее был даже доволен, что пришлось ему волей-неволей совершить столь удивительную прогулку...

Узнай об этом медики, они, конечно, пришли бы в ужас: в последние годы у отца временами отмечалось обострение пневмонии. Ему, как водится, предлагали уйму лечебных советов, рекомендовали дышать морским воздухом, но он отмахивался, по-прежнему не признавал никаких санаториев, Домов отдыха и Домов творчества, за исключением, может быть, Переделкина, и только единственный раз провёл три недели на Рижском взморье. И еще бросил

курить, во всем же остальном оставался верен своей «методе»: парился, ходил без шапки, а дома — босиком и на предостережения докторов говорил, чтобы они его не «путали», — так свято верил в народные стародавние житейские секреты.

В один из теплых солнечных дней его последней весны я позвонил ему и сказал, что хочу подарить только что купленную хорошую книгу «Очей очарование» — стихи русских поэтов о природе. Я чувствовал, что этот сборник должен ему понравиться. И действительно, — он не стал дожидаться моего визита, а пришел сам. Мы присели на скамейку в только что зазеленевшем сквере против Дома писателей, и я, обратив внимание, что отец как-то слишком тяжело дышит, спросил, отчего. Вопрос этот его раздражил, и он почти сердито сказал: «А ты разве не знаешь, что у меня с легкими?» Я знал: несколькими годами раньше он побывал в реанимации, после чего перестал курить, и все тогда как будто бы пришло в норму. В ответ мне осталось лишь сконфуженно промолчать. Он между тем перелистал страницы, заметно светлея лицом, — встретились стихи Ивана Бунина, — и, сказав спасибо за книгу, поднялся и стал медленно удаляться по боковой аллее. Я глянул вслед и вдруг почувствовал, как отчего-то защемило сердце. Этот наш разговор оказался одним из последних. А книга стихов с пушкинскими словами на обложке стоит среди других не столь уж многих дорогих для отца книг в его маленьком рабочем кабинете.

С такой же щемящей грустью смотрю и на тонкую книжку — «Маленький принц»; Иван Петрович очень любил ее и даже выписал поразившие его мудрой своей простотой строки:

«— Откуда ты родом?

— Я из своего детства», — отвечает Маленький Принц из сказки Экзюпери.

Все мы — родом из своего детства. И я вспоминаю их — неблизкие ранние годы.

Впервые я увидел отца во время войны, когда он однажды приезжал к нам на улицу Исыккульскую. Произошло это зимой: почему-то запечатлелись в памяти добротные белые отцовские бурки. В восторг приводила меня и его военная форма. Прожил он в тот раз совсем недолго, да и жить-то, собственно, было негде: нас, как и всех алмаатинцев, в ту пору «уплотнили» — одна супружеская чета занимала проходную комнату, а мы — мама, бабушка и я — ютились в другой, где стояла железная печка-буржуйка с длинной трубой, выведенной наружу сквозь отверстие в оконном стекле. Топили ее саксаулом, который получали по талонам и держали тут же в квартире, в маленькой, тесной кладовке. Жилось нам, конечно, как и всем тогда, нелегко — и холодно, и голодно, но с приездом отца в моем сознании крепко связалось ощущение праздника: в жизнь вдруг вошел столь нужный — веселый, крепкий, уверенный в себе человек.

Тогда я, кажется, впервые услышал и о Пресновке, а где это, что — о том не имел никакого понятия.

Познакомиться с отцовской родиной довелось мне сразу же после окончания войны. Отправились мы в Петропавловск вдвоем с мамой по железной дороге. Путь туда из Алма-Аты был намного длиннее, чем теперь, пролегал он стороной — через Барнаул, Новосибирск, — и подробности того многодневного путешествия мне, шестилетнему, естественно, не запомнились. Единственно, что сохранилось в памяти, — длинные встречные составы из открытых платформ, груженных танками, пушками и другой боевой техникой.

Да и тогдашние пресновские мои впечатления связаны были с недавно отгремевшей войной. Как сейчас, вижу поразившую мое мальчишечье воображение красивую, отливающую чернотой трофейную ракетницу, неожиданно обнаруженную мной в огцовском кабинете. Потом я узнал, что это — подарок воинов-сибиряков, к которым отец выезжал на Ленинградский фронт. Еще он рассказал, что з первую военную зиму отдал в армию свою новую машину — «эмку», ее перекрасили для маскировки в белый цвет, и на ней стал ездить один боевой генерал.

Этим, пожалуй, и ограничивались мои ранние сведения о жизни отца в ту тревожную и грозную пору. Теперь-то я знаю, что три военных года он редактировал пресновскую районную газету «Ударник», написал патристическую повесть о доблести и отваге сибирских казаков — «Дым Отечества», занявшую, по призыванию критиков, почетное место в одном боевом ряду советской военной публицистики вместе с произведениями Алексея Толстого, Михаила Шолохова, Леонида Леонова, Ильи Эренбурга. Узнал я и о том, что Иван Петрович часто выступал в периодической печати со страстными публицистическими статьями и очерками, вдохновляющими советских людей на разгром ненавистного врага.

Почти полгода в общей сложности провел он непосредственно на переднем крае — на фронтовых дорогах Эстонии, под Нарвой и Невелем, где, как сообщал весной 44-го, трижды попадал под «чудовищную бомбежку», около двух недель жил под артиллерийским обстрелом, «видел пепел от бывших городов и сел», видел сотни подбитых «тигров» и «фердинандов», тысячи плененных — «жалких и гнусных солдат армии обреченных», летал на истре-

бителе с помощником командующего армией через Ладогу в израненный блокадный Ленинград и, испытав «чистый священный трепет при первом взгляде на суровый и строгий облик чудесных площадей и проспектов этого города-богатыря России», не мог «без волнения смотреть на осколочные шрамы на великолепных зданиях знаменитого Невского проспекта», на страшные руины Петергофа и Красного Села — некогда блистательных и великолепных мест, совершенно разрушенных немцами, проехал на машине сотни километров «по дорогам величайших битв».

Моей матери он писал оттуда: «Мы привыкли читать в тылу об ожесточенных боях, и наша человеческая восприимчивость притупилась. У нас там сложилось очень отвлеченное понятие о фронте, о битвах. Здесь, на фронте, все это приобретает сугубо конкретное, реальное, физически и психически осязаемое понятие. А это доступно только тем, кто ощутил весь этот сатанинский грохот и гул, всю эту адскую симфонию великой битвы. Сейчас, например, идет налет авиации противника на одну из наших дорог. Земля стонет — это в буквальном смысле слова — от взрывов авиабомб. Если за полтора часа вчера по одному из наших участков было выпущено свыше 18 тыс. снарядов, а подразделение, занимавшее этот участок, не только выдержало этот артналет, а затем перешло в атаку и разгромило фрицев...»

Возвратясь в Пресновку, отец вновь приковывал себя к письменному столу, месяцами просиживая за ним «буквально по 18 часов в сутки».

Не без гордости сообщал Иван Петрович в письме 8 февраля 43-го о том, что несколько его военных очерков были «опубликованы через посредство Совинформбюро в крупнейших газетах Англии

и США», что закончил повесть «Письма сибирским казакам», которая «получила очень высокую оценку Д. Заславского и печатается сейчас в февральской книжке журнала «Октябрь» с одновременным выходом в Москве, в Гослитиздате». Главы из «Писем» звучали 2 и 3 мая 43-го года по Московскому радио. А в июне Новосибирск организовал по ним специальную передачу — радиокомпозицию для фронта.

Вскоре после выхода книги отец получил приглашение командования Сибирского казачьего корпуса. В этом соединении, по свидетельству Ивана Петровича, служили его «знаменитые земляки — школьный товарищ Саша Песков — ныне генерал-лейтенант и его младший брат Генка — Герой Советского Союза, которые воюют сейчас на I Украинском фронте». Ивана Петровича очень обрадовало и взволновало это приглашение, однако воспользоваться им он не смог: удерживала не прекращавшаяся все военные годы работа над новым романом, который фигурирует в его письмах под разными условными названиями — «Дорога на запад», «Русский роман», «Метель»... Эту работу он считал для себя основной и признавался: «Если бы не роман, я бы, разумеется, давно уехал в армию. А сейчас бросить рукописи — это для меня страшнее смерти...».

В июне того же года в письме из Пресновки отец извещал: «Работаю я горячо и много... Роман наполовину готов, а имени пока не имеет. Кажется, назову его так: «Мы из Сибири!» Написать, разумеется, хочется по-настоящему просто, искренне, хорошо. И мне думается, что такие страницы у меня в этой вещи найдутся... И написать с такой остротой можно стало только теперь, когда и сам многое пережил, перевидал и передумал, и народ наш пред-

стал во всем своем величии в дни этих великих испытаний». Однако замысел этот в полной мере осуществить не удалось, лишь главы под названием «Метель» печатались в 1946 году в журнале «Сибирские огни».

Один из военных очерков отца представляет, на мой взгляд, особенный интерес. Опубликовала его северо-казахстанская областная газета «Ленинское знамя» 9 ноября 1941 года под названием «Вооруженные станицы». Вот он передо мной — этот выцветший, потертый на сгибах газетных экземпляров с карандашными авторскими пометками. Очерк большой, занимает всю третью полосу и четверть последней. Я не могу читать его без волнения, тем более, что мне посчастливилось быть лично знакомым кое с кем из тех пресновчан, о которых там идет речь. Скажу об этом несколько ниже, а сейчас не могу удержаться, чтобы не привести отрывок, где Иван Петрович пишет о том, как черным своим крылом коснулась Пресновки война:

«Навсегда запомню я знойный июньский полдень над просторной, выдавшей виды станичной площадью. Пройдут многие годы, но никогда не поблекнут неповторимые краски и звуки этого дня, дня великого народного гнева, дня всенародных проводов моих земляков, друзей и одностаничников на фронт. Земля гудела от глухого гула конских копыт. Кони, зачуяв дальнюю дорогу, нетерпеливо танцевали под бравыми всадниками и, злобно грызя мундштуки, рвались с площади, битком набитой тысячными толпами готового на жертвы, на муки и подвиги, грозного от ненависти к фашистской нечисти народа.

Были и слезы. Чистые, благородные материнские слезы, слезы, облагораживающие и матерей и сынов, мужественно идущих в смертельную битву с самым подлым, с самым коварным, с самым нечисто-

плотным и варварским врагом. Это были священные слезы матерей, благословивших своих сынов на подвиг или на героическую смерть на поле брани. И не признаком слабости, трусости или малодушия служили в этот грозный час они, а источником мужества, доблести и геройства для сынов, крепко целовавших своих матерей с походного стремени.

Я видел старую казачку, одну из подруг и сверстниц моей матери, провожавшую двух своих сыновей. Маленькая, как подросток, в старинной — темных тонов — кашемировой шали, она стояла между своими рослыми, мужественными, загорелыми, смущенно и трогательно улыбающимися сыновьями и, уловив минутку, украдкой, поспешно перекрестила их, сказав при напутственном благословении всего только три слова:

— Будьте, ребята, казаками!

Я слышал, как моя одностаничница, проводившая на фронт пять своих сыновей, казачка Ирина Сергеевна Дробышева, говорила одному из пяти — сыну Васе:

— Пятеро вас у меня, орлов. И все вы одинаково дороги моему материнскому сердцу, соколы. Ты из всех у меня самый младший. Благословляю тебя, кровинка моя, в поход и вот тебе мое последнее материнское слово: не страшись смерти на поле брани, смело иди в бой с трижды проклятым германцем, храбро дерись с этим извергом за свою молодость, за Родину нашу, за мою покойную старость!»

...Шли первые месяцы войны. Еще впереди была героическая битва за Москву. И в преддверии великих испытаний осенью 41-го Ирина Сергеевна обратилась на страницах редактируемой Шуховым районной газеты «Ударник» к своим сыновьям с

письмом «Материнское благословение». Она с гордостью сообщала, что дети, судя по их письмам, свято выполняли ее материнский наказ. Старший Николай сражался с фашистами под Ленинградом, а младший, Вася, с первого дня войны дрался с врагом на Западном фронте. «Сейчас он сражается на подступах к Москве, грудью защищая любимую нашу столицу».

Вот с этим «сыном Васей» — прошедшим всю войну, ныне здравствующим милым, скромным человеком с застенчивой улыбкой — Василием Епифановичем Дробышевым, энтузиастом самодеятельного искусства, бессменным режиссером народного театра Пресновского Дома культуры, и пришлось мне близко познакомиться.

В очерке «Вооруженные станицы» с любовью и почтением говорилось и о старых станичных казаках, участниках знаменитого Брусиловского прорыва 1916 года, которые в тот памятный июньский полдень также давали свое напутствие уходившей на фронт молодежи. Они крепко били в первую мировую германских вояк и теперь вдохновляли отеческим словом молодых воинов на ратный подвиг во имя Советской Отчизны.

Славил отец и «подлинных героев трудового тыла», сотни которых выросли в колхозных станицах Горькой линии за дни боевой уборки обильных хлебов. «И нет возможности, — писал Иван Петрович, — назвать все эти яркие имена. Но о их подвигах, о самоотверженном труде старых казаков, молодых казачек и казачат будет написано в будущих наших книгах и в песнях моих друзей, моих товарищей по перу». И свое писательское слово, данное землякам, отец сдержал с честью.

После войны отец бывал у нас только наездами, большую часть времени проводя в Пресновке или

Москве. Зато несколько лет подряд, с началом каникул, он приезжал за мной, и мы улетали до осени в Северный Казахстан. Первое воздушное путешествие довелось нам совершить на стареньком американском «дугласе». Полет из Алма-Аты в Петропавловск тогда занимал целый день; посадки были в Балхаше, Караганде, Акмолинске, Кокчетаве. Балхаш обдавал горячим дыханием пустыни, и вокруг не на чем было остановить взгляда. А вот в Караганде... Тут у отца словно происходило первое свидание со степной стороной, с ее неяркими цветами, милой сердцу душистой полынью, не однажды, как я узнал позже, воспетой им в прозе и стихах. На Акмолинском же и Кокчетавском аэродромах душа его и вовсе ликовала; он уходил далеко в открытую всем ветрам степь, блаженствуя, растягивался на траве, наслаждаясь неповторимыми, горьковатыми запахами родной северо-казахстанской земли. Случалось — даже забывал про самолет и, спохватившись, лишь в самый последний момент едва успевал под рев моторов подняться на борт по шаткому приставному трапу.

А летал он в ту пору так часто, что многие пилоты успевали привыкнуть к чудачествам постоянного своего пассажира и не слишком сердились на него. Тем более, что остальные отцовские причуды не доставляли авиаторам особых хлопот и выражались в том, что ему больше всего нравилось располагаться в хвостовой части самолета или на месте под тринадцатым номером. А еще — любил он также вылетать по тринадцатым числам и считал доброй приметой, если доводилось уезжать в аэропорт в ненастную погоду...

Лето в Пресновке проносилось незаметно. Вместе со своими деревенскими сверстниками мы росли, — отцовскими словами говоря, — как трава в

чистом поле, целыми днями торчали на озере, ловили бреднем карасей и окуней (тогда они там еще водились), бегали босиком по улице, самозабвенно катая железные обручи — «колесянки», играли в заросшем саду возле дома в «казаков-разбойников» и были счастливы, когда отец (а такое случалось нередко) принимал участие в наших мальчишеских забавах, терпеливо разыскивая в густых зарослях боярышника наш старательно замаскированный «штаб». Как только он нас обнаруживал, начиналась шумная перестрелка; в ход шли земляные комки, и каждое точное попадание сопровождалось громкими, ликующими возгласами.

В начале пятидесятых годов Иван Петрович купил «Победу», и мы вдоволь поехали на этой выносливой, казавшейся тогда чудом комфорта машине по заросшим травой, не ахти каким накатанным проселочным дорогам, а то и просто по ровной, не выдавшей еще вагончиков и палаточных городков целинной степи. Он водил машину сам и делал это, как мне казалось, не хуже любого профессионала. Я ему очень завидовал и втайне надеялся, что когда-нибудь и мне будет дозволено покрутить заветную «баранку».

Отец, конечно, догадывался о моей сокровенной мечте и, будучи от природы человеком податливым, умеющим понимать ребячью душу и проникаться ее интересами, однажды, наконец, уступил мне свое шоферское место. Правда, кончилось это событие довольно-таки плачевно... Было мне тогда лет двенадцать. У отца ухудшилось зрение, ездить за рулем стало трудно, и он принял предложение одного только что вернувшегося в Пресновку из армии бывшего фронтовика Михаила Филатова поработать шофером на его «Победу». Уж очень, видать, лестно было тому поехать на таком прекрасном

легковом автомобиле — единственном, почитай, во всей округе! Словом, быстро столкнувались, ударили по рукам. Михаил тут же до блеска надраил и без того чистую машину, с нескрываемым восхищением осмотрел ее со всех сторон и, довольный, отправился до завтра к себе, в противоположный край станицы.

«Победа» осталась на полянке возле дома. Отец продолжал что-то натирать внутри машины; сестра его, Прасковья Петровна, стоя у задней дверцы, пришивала шелковую занавеску. Здесь же, конечно, вертелся и я. И не понятно почему, но отец вдруг легко согласился — прямо тут, во дворе, показать мне, как заводить мотор и трогать с места. (Раньше на подобные просьбы он отвечал: «Вот выедем в степь,— тогда»). Я сел за руль на сложенное вчетверо, чтобы мог лучше видеть дорогу, большое кожаное пальто, а отец устроился рядом. Тут же определили маршрут: мне надлежало тихо проехать вдоль дома, свернуть в садовую аллею и в конце ее остановиться.

Но на деле все вышло по-другому. Включив зажигание, я до отказа выжал педаль акселератора. Мотор свирепо взревел, и «Победа», снеся деревянные перила крыльца, двинулась напрямик на толстый, росший у ограды тополь. Все это произошло, как во сне,—внезапно и неотвратно. Вот оно — дерево. Удар! И — тишина...

Нам, надо сказать, повезло: я отделался простым испугом, а отец — от сотрясения кузова — растянул на ноге мышцы. Благо, разбег оказался коротким, и мы не успели набрать скорость...

Сбежались соседи; громко охая и причитая, разглядывали машину: перед у нее был, что называется,— в лепешку. Потом, посокрушавшись, мужчины уже в сумерках откатали ее в гараж.

На другой день Михаил, как ни в чем не бывало, явился с утра пораньше, насвистывая, распахнул гаражные ворота и — я увидел это с террасы — точно остолбенел... И я вполне разделял его горе: новенькую машину, с которой связывалось столько радужных мальчишеских надежд, было жалко до слез. Один отец, хотя и пострадал сильнее других (больше месяца не мог он потом ступать ушибленной ногой), отнесся ко всему удивительно спокойно, не сказал мне ни единого укоризненного слова, как всегда, веря библейской истине: чему быть, того не миновать.

«Победу» увезли на прицепе в Петропавловск, долго там ремонтировали, но к Ивану Петровичу она больше не вернулась: кто-то в городе слезно упросил его уступить автомобиль. Через год Михаил пригнал из Омска еще одну «Победу». Вот на ней-то, сидя на том же отцовском пальто, немало поколесил и я, только теперь — вдали от жилья, на вольном степном просторе.

Но поездки эти не были самоцелью. Они приближали меня к миру непышной северной природы. Перед ее лицом приходилось испытать всякое: попадать в сильную, наводящую ужас грозу, ночевать в машине, застрявшей среди лесов на размытой ливнями дороге, спастись в дыму костра от комариных туч. Во всем этом была своя романтика, и я в Алма-Ате сильно по ней тосковал, с нетерпением дожидаясь лета: так тянуло меня к тем далеким березовым колкам, к чистым степным озерам, тихому полевому раздолью. Там мы ходили по грибы и ягоды, собирали низкорослую мелкую сибирскую вишню, кисловатую ярко-красную костянику, таящую маленькие заманчивые гроздья в траве где-нибудь на глухой лесной опушке, ароматную степную клубнику.

Мало в каких станицах, деревнях и аулах не довелось нам побывать во время наших ближних и дальних поездок по немеряным сельским дорогам. И всякий раз, еще издали завидев сверкающую никелем облицовки машину, деревенские мальчишки принимались подпрыгивать от радости, громко скандируя: «Шу-хо-ва «По-бе-да»! Шу-хо-ва «По-бе-да»!»

Бывало, отец останавливался посреди села, зазывал мальчишек в кабину и, покатав их по улицам, высаживал — потрясенных, онемевших на миг от восторга и счастья. Автомобиль трогался, и вослед нам до самой околицы продолжали нестись ликующие ребячьи голоса.

Особенно любил отец заезжать в село Усердное, к своему доброму старому другу — председателю местного колхоза Савве Григорьевичу Калугину. Самобытный, смекалистый, он прославился, между прочим, тем, что одним из первых в северных областях Казахстана заложил колхозный фруктовый сад — яблони, вишни, груши. Надежно укрытый от студеных ветров окрестными березовыми лесами, сад хорошо прижился и стал приносить хозяйству немалый доход.

А жил Савва Григорьевич так же, как и все однопосельчане: не чурался народных обычаев, умел и поработать на совесть и душе дать отгул. Запомнилась его широкая, озорная улыбка. Иван Петрович считал его талантливым человеком и посвятил ему один из своих очерков. Восхищался он и колоритным, «роскошным», как выразился в одном из своих писем, калугинским языком.

...Было мне лет тринадцать. Помню, однажды летним днем в Пресновку въехала незнакомая синего цвета «Победа». Она еще пылила из противоположного края по немощеным станичным улицам,

а звонкий ребячий узун-кулак разнес эту новость во все концы. Отец знал, что скоро должен прибыть Сабит Муканов, предпринявший тем летом дальнейшее путешествие на родину из Алма-Аты через весь Казахстан на собственном автомобиле. Мы вышли за ограду встречать гостей, и вскоре они подъехали. За рулем сидел знакомый нам приветливый, обаятельный мукановский шофер Турсун. А пассажиров было трое: Сабит Муканович и его сыновья — средний Марат и младший, мой ровесник, Ботажан, которого все мы, вслед за Иваном Петровичем, сразу же стали ласково называть Букашкой.

Муканов с отцом дружески обнялись, расцеловались. Веселый, оживленный, с нетерпением ожидающий встречи с земляками, гость тут же сговорил Ивана Петровича, не мешкая, ехать вместе с ним. И спустя какие-нибудь два часа мы уже двигались кортежем из двух машин к родному мукановскому аулу.

Помню: справа — березовый лесок, слева — небольшое продолговатое озерко, а прямо вдоль дороги — два ряда не слишком-то примечательных, приземистых строений. Проследовав этой единственной пустынной улицей, остановились в конце ее у дома с деревянной крышей, с закрытыми наглухо выцветшими на солнце ставнями. Здесь жил родной брат Муканова. Он показался на пороге — худощавый, скромный, улыбающийся.

И все в доме сразу же пришло в движение. У крыльца появились женщины с кумганами и полотенцами, и путники с удовольствием принялись умываться с дороги.

Мы провели в ауле несколько дней, сполна ознакомившись с традиционными обычаями казахского гостеприимства. Сабита Муканова и отца везде встречали с большим почетом, усаживали на торе —

месте для особо уважаемых гостей. Мы с Букашкой тоже быстро освоились и чувствовали себя привольно. Аулчане приветливо нам улыбались; показывая на меня, говорили друг другу: «Шуховтын баласы» («сын Шухова»).

Заметив, что я с восторгом засмотрелся на коня, кто-то из мужчин посадил меня и махнул рукой в сторону ближнего березового леса: можешь, мол, прокатиться дотуда. Лошадь оказалась неоседланной, да и жокейского навыка у меня не было, если не считать двух-трех коротких верховых прогулок на смирном, ленивом пресновском мерине Рыжке. Однако до леса доехал я благополучно. Конек мой не выказывал никакой прыти, и, несмотря на понукания, плелся почти шагом. Но стоило мне повернуть обратно, его словно подменили. Ни с того, ни с сего он вдруг взял с места в карьер. Не успел я опомниться, как он домчал меня до края аула. Близкий к отчаянию, чуя, что вот-вот при всем честном народе слечу на землю, я плотно припал к лошадиной гриве и изо всех сил вцепился в нее обеими руками. Мучения мои кончились так же внезапно. Подскакав к знакомому дому, конь вдруг стал как вкопанный. Я был обескуражен, а мужчины для моральной поддержки одобрительно кивали головами, восклицая: «Жаксы джигит!». Хотя видок у этого «доброго джигита» был, понятно, далеко не бравый.

Здесь же в тот момент погодился и отец. Теперь уж не помню, что он сказал тогда, но то, что я не побоялся сесть на незнакомого жеребца, его обрадовало. А может быть, припомнил он себя, такого же маленького, и любимого своего коня Игреньку, о котором душевно поведал в «Пресновских страницах»...

...Недавно, после многолетнего перерыва, увиделись мы с Ботажаном Мукановым. Нет в живых на-

ших отцов. И как-то само собой всколыхнулось бы-
лое, те несколько дней, что провели мы мальчиш-
ками вместе в ауле, и все, о чем я только что рас-
сказал, представилось нам бесконечно далеким, поч-
ти неправдоподобным. Позднее, уже в студенческие
годы, довелось мне однажды задержаться в Прес-
новке до середины осени, увидеть прямо-таки пуш-
кинские «в багрец и золото одетые леса», — увидеть
и вблизи и с высоты. И что-то тогда так тронуло
душу, что захотелось сказать об этом приподнято,
в стихах. Они вскоре написались и даже, каюсь,
увидели свет, но, хотя и были продиктованы искрен-
ним чувством, внешне получились какими-то слиш-
ком гладкими, и хорошо, что отец, занятый редак-
торскими своими заботами, их попросту не заметил.
Но дело в другом — в эмоциональном настрое, в
глубоком внутреннем отклике, который вызвала та
новая — через годы — встреча с притягательным
сызмальства отцовским краем, ставшим радужной
частицей и моего собственного, далекого теперь уже
детства. Значит, не были напрасными наши давние
утомительные перелеты через весь Казахстан, воль-
ные скитания по полям и лесам, ночевки у одиноко-
го костра на берегу и соленых и пресных, первоздан-
но чистых степных озер... Да и как могли они быть
напрасными, если рядом в ту пору всегда был отец
и все вокруг благодаря этому озарялось каким-то
особенным, мягким и привлекательным светом. От
него словно исходили токи природной, непоказной
доброты и любви ко всему сущему в этом мире:
к деревенским старикам и детям, к полевым травам
и цветам, к шумным и нешумным летним дождям,
к большим и малым озерам и колкам, к причудли-
вым облакам, плывущим в вышине над степью. Все
это было для него близким, кровным, с малолетства
вошедшим в сердце, а потом, с юности, — во все, что

бы ли создал за полвека литературной работы: романы и повести, рассказы и очерки, поэмы и стихи. Подобное можно, конечно, сказать не только об Иване Петровиче. Но разве это имеет значение: каждая песня, говорят, хороша по-своему...

Специально, напрямую он моим «нравственно-эстетическим воспитанием» не занимался. Однако — не в том суть. Главное — я находился вместе, рядом с ним, в его стихии, и мне, мальчишке, этого было достаточно. Остальное свершалось как бы само собой, откладываясь в уголках сознания и исподволь, незаметно формируя душу.

И до сих пор, когда слышу любимые отцом живые пушкинские строки:

Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском
Трещит затопленная печь...

вспоминаю — маленький кабинет в пресновском доме, отца, с удовольствием наблюдавшего, как пылали в железной печи-каmine жаркие березовые поленья, бросая на потолок и стены быстрые неверные блики. А за окном шумели тополя и клены, и сквозь их листву светлело большое пресное озеро, которое и дало название станице.

В нем отец любил плавать, особенно — в непогоду, при сильной волне, что требовало немалой закалки и смелости, или, напротив, в тишине, рано, когда на зеркальной поверхности озера лежали красноватые отсветы утренней зари, или на закате, почти в сумерках, когда вода становилась мягкой и теплой, как парное молоко. Он рассказывал, что раньше раз или два переплывал озеро. Мне это казалось фантастическим: другой берег отстоял так далеко, что на нем едва можно было различить

темную полосу из соседствующего с Пресисвской села — Михайловки.

Иногда мы ходили туда прямо по берегу в гости к родственникам — Аксинье и Петру Ширяевым. Жили они потихоньку, имели, как и все, огород, вели кое-какое приусадебное хозяйство. Петро — человек бывалый, но тихий, даже чуть замкнутый, воевавший еще в первую мировую, служил сторожем в райбанке, в свободное время понемногу рыбачил. Встречали они нас всякий раз приветливо, с радостью. Своих детей у них не было, и тетя Сина позволяла мне вволю полакомиться в огороде нехитрыми дарами здешней земли: крыжовником, горохом, бобами, хрустящей сладкой морковью. Сама она тоже хлопотала среди грядок: накапывала картошки, срывала — каких повесомей — огурцов и помидоров и убегала в избу — готовить угощение. Гость с хозяином между тем устранивались на серых от времени ступеньках низенького крыльца, закуривали, мирно беседуя о чем придется: о деревенских новостях, погоде, рыбалке, о видах на урожай... Потом тетя Сина приглашала в горницу, к маленькому, уставленному закусками столу и... до сих пор памятен мне вкус ее мягких морковных шанежек, глянцево поблескивающих на свету соленых груздей, ароматных, прямо из печи, пирогов с нежными, распаренными, сегодняшнего улова карасями...

В сумерках зажигали подвешенную к потолку керосиновую лампу и принимались с настроением, вполголоса петь старинные казачьи песни. Петро постепенно оживлялся и, вспоминая беспокойную молодость, громко (он был глуховат) затягивал лихую солдатскую:

Артиллеристом я родился,
Артиллеристом вырос я.

Огнем-картечью я крестился
И черным пламенем вился!..

Звучала она с таким задором, что мне навсегда запомнились не только слова и мотив, но даже, кажется, все интонационные оттенки, хотя услышать ее с тех пор больше ни разу не привелось.

Навещали и другую — пресновскую — родню: стариков Семена Егоровича и Агриппину (отчества не знаю: звали ее просто — Грапа) Шуховых, живших неприметно на окраине станицы в тесноватой избушке с тусклыми оконцами, с неизменной русской печью, полатями за выцветшей ситцевой занавеской, геранью на беленных известью подоконниках, с разнокалиберными фотографиями в рамке под стеклом и лампадкой в переднем углу, с приколотыми в простенках — для красоты — бумажными плакатами о передовиках сельского хозяйства и пожелтелыми вырезками из «Огонька» и «Крестьянки». Старики были какими-то покорными, ласковыми, они незлобливо подшучивали друг над другом, и лица их при этом светились тихой нежностью и добротой.

Теперь ни Семена Егоровича, ни Петра Ширяева давно уже нет на свете...

А в те дни они еще казались крепкими и иногда по субботам приходили к нам — попариться в баньке. Это служило одним из первых деревенских удовольствий, тем более, что банька в отцовском саду была особенная: деревянная, чистая — настоящее чудо по сравнению с приземистыми, топящимися по-черному мазанками из самана в подворьях большинства тогдашних пресновских жителей.

И — так уж повелось — никто, кроме отца, в «первый жар» не ходил. И я гордился тем, что он брал меня с собой, приобщая к своей богатырской

забаве. Но, по правде говоря, мне, горожанину, она явно оказывалась не по плечу. Переступив порог, я тут же плюхался на пол, где кое-как еще можно было дышать, принимался наскоро мыть голову щелоком и, быстро ополоснувшись, радуясь, что уцелел, выбирался на белый свет. А отец, поддавая жару, выплескивал в раскаленный зев каменки очередной ковш воды, отчего дверь иной раз вышибало настежь, взбирался на полку и там, в немыслимом влажном сумрачном пекле, принимался яростно, до красноты, кряхтя, нахлестываться березовым веником. Потом он выливал на себя ведро холодной воды, выскакивал на минутку в предбанник перевести дух и снова лез на полку...

Вечером, по «второму жару», направлялись в баньку гости. А тем, кто послабее, хватало тепла и на другой день. И любо было потом, в сумерках, придя в себя, посидеть всем вокруг большого старинного, в гербах и медалях, добродушно воркующего самовара...

Конечно, и пресновчане нередко приглашали Ивана Петровича. «Был вчера в гостях у Денисовых, на именинах Ванюшки,— записал он однажды.— В избушке было негде повернуться от гостей. Были все врачи, приглашенные Ванюшкиной женой, работающей в больнице. Затем — продавец сельпо, заведующий промартелью, директор автоотряда и еще какие-то люди. Угощали рыбными пирогами и зеленой водкой. Словом, было чудно. Анна Варламовна при белом фартучке была совсем бесподобна. МХАТ! МХАТ!»

Словом, все здесь ему было бесконечно мило и дорого: обычаи дедов и прадедов, их своеобразный бытующий и поныне говор, хлебородная, воздающая человеку добром за добро земля.

В одном давнем письме из Пресновки отец при-

знавался: «Только при взгляде на притихшую степь под снегом, на скованное льдом, умолкнувшее наконец озеро, на синюю кайму далеких роц удивительно хорошо и тихо становится на душе. Милый, благословенный край. Хорошо, что ты наградил меня чувством сыновьей любви к тебе и благословил меня на вечные муки в поисках слова, которым смог бы я выразить эту любовь хотя бы в одной из тысячей написанных мною страниц...»

Не следует представлять себе пребывание Ивана Петровича в его родных «пенатах» как некое безмятежное «пейзанство».

Еще совсем молодым, выступая на Пресновском районном съезде Советов (текст этого выступления напечатала газета «Карагандинская коммуна» 30 ноября 1934 года), Иван Петрович, только что вернувшийся из Москвы с Первого всесоюзного съезда писателей, держал своеобразный отчет перед земляками, говорил о высоком назначении советских литераторов, призванных «рассказать в своих книгах о всем замечательном, ярком, небывалом, интересном в нашей стране».

«...Я не преувеличивая скажу, что для меня, делегата этого исторического съезда, дни, проведенные в Колонном зале Дома Союзов, останутся одними из самых ярких дней моей жизни. Съезд писателей показал, что литература уже стала делом народной массы, на смену писателям дворянства и буржуазии пришли замечательные, могучие таланты из низов рабочего класса и колхозного крестьянства.

Маленький пример. Замечательный писатель прошлого Чехов, будучи признанным мастером художественного слова, издавал свои сочинения в количестве двадцати пяти тысяч экземпляров, и это в то время считалось небывалым явлением.

Тиражи, то есть количество экземпляров наших передовых книг измеряются сейчас миллионами.

Я не без гордости доложу съезду моего родного района, что книжка моя «Ненависть» за два года выдержала восемь изданий и тираж ее достигнул за этот короткий срок 800 тысяч экземпляров...»

Далее он остановился на культурном строительстве в районе, с удовлетворением отметив рост благосостояния семей колхозников, в то же время подчеркнул, что «культура заключается не только в вещах» и что «надо культуру создавать и в человеческих отношениях». «Почтительность, уважение молодого поколения к старшим товарищам, заботливая предупредительность детей к своим матерям и отцам,— подчеркнул он,— это тоже культура.

Надо учиться уважать людей. Надо учиться быть внимательным к тем, кто заслуживает этой внимательности. А у нас еще молодежь наша зачастую щеголяет своим высокомерным пренебрежительным отношением к старикам. У нас много еще мерзкого, отвратительного, вредного в наших человеческих отношениях, много того, что унаследовали мы от мрачного прошлого и с чем надобно повести самую жесткую, непримиримую, самую мужественную большевистскую борьбу».

Удивительно остра и актуальна концовка того отцовского выступления. «Меня часто спрашивают,— говорил Иван Петрович,— почему я живу в деревне, не в Москве, где как будто полагается жить настоящим писателям, и почему я живу именно в Пресновке... Отвечаю: я живу в деревне потому, что пишу о деревне. А для того, чтобы хорошо и правдиво писать о деревне, надо хорошо знать ее. Для того же, чтобы хорошо знать ее, не следует от нее отрываться, надо ежедневно наблюдать за ее огромным, небывалым расцветом. В том и беда наших

многих писателей, что они не понимают этой великой и простой истины. Сидя в Москве или выезжая в деревню на неделю, они не слышат настоящих ее голосов, они не видят настоящих людей ее, а потому-то герои в их книжках получаются неправдоподобными, выдуманскими, ходульными.

Партия и правительство нам, советским писателям, дали все и отняли у нас, как было сказано на съезде писателей, единственное право, это право плохо писать. Нам созданы все условия для того, чтобы мы добросовестно относились к своей работе. Одного таланта для того, чтобы стать писателем, мало. Для этого нужна большая культура. Для этого нужна огромная работа, огромное терпение, длительное и упорное изучение того материала, над которым мы работаем.

Мы создаем образы передовых людей нашей эпохи, мы создаем образы, по которым должны учиться наши будущие поколения, с которых они должны брать пример. Это значит, что мы должны писать о лучших людях, и, как говорят, обобщать, то есть собирать из многого лучшего самое лучшее, самое яркое. Поле моих творческих наблюдений является в данном случае наш Пресновский район. Здесь я должен писать лучших людей для того, чтобы рассказать об этом всей стране, всему миру, ибо книги наши читаются с таким же огромным интересом и за границей».

Живя многие годы в Пресновке, он не чувствовал себя сторонним наблюдателем, не замыкался в узком мирке «за голубым забором», откликаясь сердцем и страстным писательским словом на то, что волновало его земляков. Тогда, скажем, в глубинке еще не слышали такого понятия — «экологическая проблема», но сама эта проблема успела

обозначиться там со всей остротой. Речь — о том самом, чудесном, некогда прозрачном и чистом, богатом увесистыми окунями и серебристыми карасями станичном озере, в короткий срок загрязненном промышленными отходами. О заброшенном, обреченном на гибель парке. О беспорядочной, портящей облик станицы и небезопасной (в прошлом здесь дважды случались опустошительные пожары) застройке кварталов и площадей. О ранее знаменитом Доме культуры, полностью утратившем свою былую славу из-за равнодушного отношения тогдашних районных руководителей. Об их столь же странном безразличии к памяти выдающегося ученого, уроженца Пресновки Григория Николаевича Потанина... Ох, и крепко же «выдал» им за все это Иван Петрович в одном из очерков 54-го года — «В далекой нашей станице...»! Он с накалом писал: «Непонятно, как могут у нас иные руководители совмещать столь нетерпимое равнодушие к жизненно важным вопросам культуры и быта трудового народа со своими пламенными речами об историческом значении решений сентябрьского Пленума Центрального Комитета нашей партии! Худо, когда слово расходится с делом!» Такое мог высказать лишь писатель-гражданин, кровно болеющий душой за большое общенародное дело.

Не утихающее с годами чувство любви к родному краю озарило ясным внутренним светом последние отцовские повести из задуманного уже на склоне лет цикла «Пресновские страницы» — светлых, щемящих, «как далекий благовестный перезвон лебединых стай на застенчивом раннем весеннем рассвете» воспоминаний о детстве, об отчем доме, о родимых задворках — надежном пристанище нехитрых деревенских забав и игрищ, о простом, нелегком, заключающем в себе доброе нравственное на-

чало крестьянском труде. Неспроста отец и мне, и моему старшему сыну Андрею не раз напоминал о том, что он в десятилетнем возрасте уже помогал взрослым на пашне, работая бороноволоком. Жаль только, мало рассказывал о людях, которые его тогда окружали: видимо, берег это до поры до времени. Помнил же он тех давно ушедших в небытие людей отчетливо, со всеми подробностями и спустя десятилетия оживил пером художника на страницах своих поэтических мемуарных повестей, которые — так уж распорядилась судьба — стали его прощальной, лебединою песней.

Замечу, кстати, что, по авторскому замыслу, «Пресновские страницы» должны были в дальнейшем выйти за рамки воспоминаний детства и стать, может быть, широким повествованием о встрече, прочувствованном и пережитом за годы и десятилетия работы в литературе. Но, увы, — песня оборвалась на полуслове, и тут уж ничего не поделаешь. А как прекрасно, как полно могла бы звучать эта песня! Он сам изумленно восклицал иной раз: «Ведь, черт знает, каких я знавал людей!» — и говорил, что должен когда-нибудь высказать свое к ним отношение. А отношение это бывало у него всегда своеобразным, неказенным, отходящим от всяческих стандартов, потому что основывалось на чистом, как у ребенка, непосредственном восприятии. В своих отзывах он избегал общепринятых характеристик, и неинтересными для него оказывались — безотносительно к званиям — только люди без «искры божьей», мелочные и корыстные; к талантливым же он причислял не обязательно представителей сферы искусства, интеллектуалов, а всех, в ком видна была душевная широта, открытость и щедрость. Быть на земле человеком — вот талант, который ценил он превыше всего.

А что до знаменитостей... Наверняка написал бы о Бажове, который, как и Горький, был для него в начале пути, словно дар небесный. О Серафимовиче. Пришвине. Замойском — авторе одного из его любимых романов — «Подпасок». О легендарном Матэ Залке, с кем встречался в Москве в кулуарах писательских съездов и у общих знакомых. О Лидии Сейфуллиной. Артисте Андрее Абрикосове. Композиторах братьях Дмитрие и Данииле Покрассах, с которыми сблизился в середине 30-х годов во время совместной работы над фильмом «Вражьи тропы» по его роману «Ненависть». О Сергее Маркове. Кайсыне Кулиеве. Юрии Казакове...

Не раз беседовал отец с Александром Фадеевым, который принимал заинтересованное участие в его писательской судьбе. В письме из Москвы 24 декабря 1948 года Иван Петрович, в частности, приводил сказанное ему при встрече Фадеевым: «Я полагаю, что обе вещи (романы «Горькая линия» и «Ненависть» — *Ил. Ш.*) следует издать в одном томе. Это ты заслужил. Обе рукописи буду читать сам. Обещаю сделать это быстро. А ты поживи в Москве. Это полезно и для тебя лично, и для общего нашего дела — для литературы. Сам знаешь, писателей у нас немало ходит вокруг да около литературы, а талантливых не ахти как много. Ты же — наш. Тебя много и несправедливо обижали. Это я знаю. Не следует много думать об этом. Работать надо. А ты можешь работать. Работай. Мы тебя поддержим... Обещаю».

Замечу, что в сборниках воспоминаний о писателях встретилось мне немало интересных подробностей, касающихся взаимоотношений Ивана Петровича с некоторыми из них. Не единожды, например, называется имя отца и в сборнике «Сейфуллина в воспоминаниях современников». Один из авторов —

Савва Кожевников приводит слова писательницы о ее любимом журнале «Сибирские огни», сказанные в 1946 году: «Меня обрадовало, что «Сибирские огни» в новом своем выполнении встали опять на хорошую, глубокую почву, нашли настоящий, серьезный, строгий тон». О художественном мастерстве Ивана Шухова Лидия Николаевна отзывалась так: «Какие чудесные типы им нарисованы! Это — скульптура, лепка».

Отец с интересом читал мемуары — и писателей-классиков, и своих современников, но взгляд на такого рода литературу имел особый. У него всегда вызывало недоверие, когда авторы воспоминаний, ведя речь о днях давно минувших, слишком уж точно, дословно приводили обширные диалоги и монологи, будто с юных лет всю жизнь только и занимались коллекционированием и консервацией на длительное хранение собственных и чужих высказываний. Отцу претил подобный рационалистский, регистраторский подход к творчеству, и он, касаясь своего заветного литературного замысла, отмечал, что не будет буквально восстанавливать разговоры со знаменитыми собеседниками, а постарается передать вызванные ими впечатления.

...Вернусь к «Пресновским страницам». Читая их, будто наяву слышу отцовский голос с его характерными интонациями, неповторимой окраской: тут что ни слово, что ни присказка, — все такое живое, неподдельное и такое знакомое; без этих словечек «вприкуску» не мог он обходиться даже в обыденной, повседневной речи. Как-то по-своему, без сюсюканья умел разговаривать с детьми, и те постоянно отвечали ему привязанностью и дружелюбием. Это давало ему право на полушутливое признание: «Все собаки и дети меня всегда любили». Памятны мне его шутливые присловья: «Верю, верю всякому

зверю — и волку, и ежу, а тебе погожу»; «Встань передо мной, как лист перед травой!»; «Слушаю приказ, пока при вас»; «Здрасьте, я вас не узнал!»; «Опять за рыбу деньги!»; «Сентетюриха телегу продала, на те деньги балалайку завела».

В детстве отец, бывало, забавлял меня так: легонько пошлепывал по нижней губе — это называлось у нас: «поиграть на билиндрысах» — или прикасался к кончику носа и спрашивал: «Чей нос?» — на что я, только и ожидая этого, с лукавством отвечал: «Саввин». И — начиналось:

- Где был?
- Славил.
- Что выславил?
- Копеечку.
- Куда дел?
- На базар отнес.
- Что купил?
- Конфетку.
- Куда дел?
- Съел.
- С кем?
- Один.
- Ах, один?!

И под общий хохот отец устраивал мне, «провинившемуся», шутиливую трепку, впрочем, великодушно позволяя отбиваться и давать ему сдачи. Точно так же, спустя три десятилетия, играл он уже с моими сыновьями Андрюшкой и Сашкой, которые, по его воле, звали его не иначе, как только — Иван. В свою очередь, он спрашивал о них: «Ну, как там Чук и Гек?»

Однажды я заметил про своего младшего: мол, парень он не по возрасту смекалистый и с характером, не то что старший — беспочвенный фантазер и мечтатель. Отец помолчал немного, а потом в за-

думчивости сказал: «Ну и хорошо... Пусть будет больше разных характеров».

В большом неопубликованном наброске к «Пресновским страницам», обнаруженном лишь в последнее время, отец пишет о своем первом, раннем знакомстве с литературой, с книгами. Пишет с усмешкой, полувсерьез: литература-то эта бывала всякая, и читывал ее сосед — «книговозлюбитель» дедушка Арефий вслух «...скопом. Подряд. Без выбору. Без разбору... Снабжали же его этими книжками одни и те же — давние его дружки — тароватые курганские, ирбитские или шадринские книготорговцы, Мужики — расторопные. Продувные. Веселые. Говоруны. Прибаутчики. Краснобаи...

...Тут были и «Жития святых». Это — про Сергия Радонежского. Симеона Столпника. Варвару Великомученицу. Феодосия и Хевронью Печерских. А еще — сочинения графа Салиаса — «Пугачевцы» и «Петербургское действо». Потом — «Похождения разбойника Ивана Чуркина», «Трагедия французской королевы Марии Антуанетты, или Царский каприз». Захватывавшие дух у слушателей приключения знаменитого сыщика Шерлока Холмса. «Невинная девственница в омуте разврата». Письмо Льва Толстого императору Николаю II. А также еще и нравоучительные графские сказания — притчи для народа — «Много ли человеку земли нужно?» «Разговор с прохожим». «Свечка». «Сказка про Ивана-дурака и двух его братьев».

Попадались под проворную руку дедушки Арефия — в числе этих сочинений — самые разные, спросовые в народе «Песенники». Тут были и «Песни «Сибирского казачьего войска». И — «Ухарь-купец». И — «Тройка борзых». И — «Ванька-ключник». И — «Маруся отравилась». А также — не менее расхожие «Письмовники» — образчики различных

казенных прошений, шутейных и полюбовных посланий. Поздравительные стихоплетения по случаю Дня ангела родителей. И тут же — стихотворная матерщина Ивана Баркова...

Кроме всей этой разномастной книжной рухляди водились у дедушки Арефия и книжки — особые. Заветные. Береженные... Это — «Конек-горбунок», «Князь Серебряный». Псалтырь. И стихотворения Ивана Никитина».

Об этих сочинениях, пишет дальше отец, он и его сверстники Пашка и Тронька слышали, однако не от самого Арефия, а от прадедушки по материнской линии — Клима — «рослого, совсем не в нашу породу — старика», полного Георгиевского кавалера, который был участником русско-турецкой кампании и «дрался под знаменами Скобелева на Балканах». Арефий жил по соседству, и зимними вечерами дедушка Клим, внимая его чтению, благодаря своей редкостной памяти, многое запоминал по слуху наизусть и будучи «вчистую неграмотным», слыл на диво всей станице вдосталь начитанным. Кроме того, дедушка Клим, в отличие от малоразборчивого «книговозлюбителя», имел, говоря по-нынешнему, неплохой литературный вкус и «не раз читывал... наизусть, без запинки — страничку за страничкой — озорные — как веселый балалаечный наигрыш при ярмарочной карусели — живые, летучие строчки про Конька-Горбунка. А то еще и — особливо любезные стариковскому сердцу — стихосложения Ивана Саввича Никитина — про неведомого нам бурлака. «Эх, приятель, и ты, видно, горе видал, коли плачешь от песни веселой! Нет, послушай-ка ты, что вот я испытал, так узнаешь о жизни тяжелой!»

Но с особой душевной охотой читались нам в такие минуты старым нашим наставником... сокровен-

ные стихотворные раздумья все того же любимого им сочинителя — на этот раз — про соху. «Ты, соха ли, наша матушка. Горькой бедности помощница. Неизменная кормилица. Вековечная работница!»

Даже про Льва Толстого узнали дети — «про этого тульского мужика с графским титулом», который особенно пленил дедушку Клима тем, что «хоть он там, сказывают, тыщи всяких книг сочинил, а земных, житейских делов не чурался. Сам себя — своими руками обихаживал...»

И кто знает, глубоко или не очень задевали в ту пору мальчишечьи умы и сердца бесхитростные стариковские беседы, но, что касается отца, могу сказать определенно: сочинения, узнанные в детстве, полюбил он до конца дней. И еще — с полным правом позволительно отозваться о нем теми же самыми дедушкиными словами: «Сам себя — своими руками обихаживал».

А о том, какой великолепной школой живого народного языка служили для него, сызмальства чуткого к слову, вольные дедушкины речения, отец хотел — и начал — писать, что называется, открытым текстом. Вот этот динамичный, лукавый, неповторимый по звукописи отрывок.

Дедушка Клим (завершая очередную свою устную историю):

«— Нет уж, отец владыко, нашенского поноمارя никому не перепономарить!

— А нашего чеботаря никому не перечеботарить! — подбрасывал тут старику и свою скороговорку, озаренный озорной усмешкой, настырный Пашка.

— На дворе трава, на траве дрова! — радостно восклицал — как палил из фузеи — встрепенувшийся, словно спросонок, Тронька.

— Из-под топота копыт пыль по полю летит! — не отставал от внезапно вспыхнувшего меж нами словесного состязания в скороговорках — даже и я.

И тут, окрыленный жаром нахлынувшего вдруг на него азарта, Пашка, как бы забыв о присутствии дедушки, мигом подключил нас с Тронькой — вне всякой связи с предыдущим разговором — к иной нашей, уже ведомой нами — по его же науке — потешной игре. С нелепыми, бойкими прибаутками.

Мы — я и Тронька — так были заранее вымуштрованы в этой игре нашим свирепым наставником — Пашкой, что роли свои знали назубок и...» На этом текст обрывается. И какой текст! Сколько радости мог бы он доставить почитателям писательского таланта, сколько ценного мог дать для познания его первоначальных жизненных и художнических истоков!..

...Гляжу на этот недопечатанный лист и с какой-то особенной остротой и болью ощущаю тяжесть и невосполнимость понесенной потери. А память заставляет меня снова перенестись мысленно в Пресновку времен моего детства, снова увидеть отца, уважаемых им тамошних стариков и моих, таких же, наверное, как Пашка и Тронька, бойких закадычных деревенских друзей-сверстников. Да, благодаря отцу, были и у меня свои Пресновские страницы, и, не будь их, детство мое и отрочество вряд ли стали бы такими эмоционально наполненными и наверняка утратили бы немало свойственных этой поре привлекательных, не блекнувших с годами красок и замет.

А впрочем, как — не блекнувших? Память человеческая не столь совершенна, и время неумолимо берет свое, размывая, затушевывая четкие прежде контуры и очертания. Да и в жизни, в отношениях наших хватало всякого: случалось, мы очень подол-

гу не виделись. Но тогда, в первые послевоенные годы, на которые пришлось мое детство, он часто приезжал в Алма-Ату, хотя, привыкший к большим просторам, чувствовал себя в нашей тесной, мало уютной квартире на бывшей улице Иссыккульской беспокойно и, редко когда дотянув до месяца, улетал в Пресновку. Однако, там, в глуши, он скоро начинал тосковать и присылал мне письма, о которых хотелось бы сказать отдельно: ведь ничего, даже коротких фраз на открытке или на книге, не мог он писать походя, абы как: всякий раз, если уж брался, то вкладывал в них душу, частицу своего «я». Бывало, кто-нибудь, «поймав» Ивана Петровича в Союзе писателей или на улице, протягивал ему книгу, прося «черкнуть что-нибудь на память». Большинству литераторов подобные просьбы обычно льстят, а отца они приводили едва ли не в бешенство. Он поражался, как это невдомек любителям автографов, что принуждать вот так, мимоходом, без всякого «настроя» сочинять посвящения — просто безнравственно. Отделяться же стереотипными, малозначащими оборотами было глубоко противно его честной и цельной натуре.

Вот уже тридцать лет хранится у меня общая тетрадь в твердом переплете — одно из редкостных свидетельств нашей тогдашней душевной близости. Озаглавлена тетрадь: «Мое летнее путешествие. 1949 г. Алма-Ата — Москва — Подмосковье». Для меня, десятилетнего, то было огромное событие: впервые довелось вместе с отцом уехать так далеко и с его помощью открыть для себя новый, неведомый, поразительный мир. Ему было важно почему-то, чтобы я обязательно вел дневник и, несмотря на суматоху столичной жизни, он почти каждый день находил время, усаживался рядом за стол, терпеливо следил, как я пишу, и, конечно, многое мне под-

сказывал, что и делает теперь эти по-детски наивные и небезупречные с точки зрения правописания (мои грамматические ошибки отца особенно не волновали) записи своеобразным документом, окрашенным таким далеким, а потому — одновременно радужным и печальным светом.

Вот наиболее примечательные, на мой взгляд, записи из дневника с небольшими сокращениями:

«28 июня. Сегодня мы были в Союзе писателей РСФСР. Там был прием иностранных писателей, которые приезжали к нам на юбилей А. С. Пушкина. Потом мы обедали в Центральном Доме литераторов. Мы с маменькой ели щи, а папенька окрошку. В гостиницу мы шли пешком. На улице М. Никитской мы видели дом, в котором жил А. М. Горький. В этом доме в гостях у А. М. Горького был в 1934 году мой папа. Потом мы шли по Тверскому бульвару. Папа говорит, что по этому бульвару гулял А. С. Пушкин. Я видел на этом бульваре знаменитый памятник А. С. Пушкину.

4 июля. Сегодня мы с папой ходили в издательство «Советский писатель». Мы поднимались на лифте на 12 этаж. Я был на крыше этого очень высокого здания на ул. Горького в Гнездниковском переулке, в самом центре Москвы. С крыши хорошо видно всю Москву. В этом издательстве будет печататься книга моего папы «Горькая линия».

5 июля. С папой были в Музее В. И. Ленина. Это очень красивый и большой дом на Площади Революции. В музее я видел много интересного. Я видел Похвальный лист уч. 4 класса Симбирской гимназии Володи Ульянова — Ленина. Володя учился только на пятерки. Я видел Золотую медаль, которую получил Володя Ульянов, когда он с отличием окончил гимназию.

Завтра я уезжаю в пионерский лагерь Союза

писателей СССР, в подмосковное село Ильинское. Папа шутит, что я еду в лагерь моего имени.

8 июля. Мы с папой приехали в пионерский лагерь. Это лагерь детей писателей. Председатель нашего третьего отряда Юля Пушкина. Юля — праправнучка А. С. Пушкина. Мы с папой долго ходили по окрестным полям села Ильинского. Здесь очень красивые места. Папа говорит, что это настоящая природа нашей России. Она очень похожа на наш Северный Казахстан. Мы долго гуляли с папой по дорожкам во ржи, в которой много васильков.

12 июля. У нас в лагере был карнавал и торжественная линейка. Потом была военная игра. Ко мне приезжал папа и мы с ним много гуляли. Я видел поле, на котором в 1941 г. шла битва с немцами за Москву. Я видел подбитые фашистские танки, самолеты и разбитые орудия.

21 июля. В 2 часа дня мы с ребятами уехали из лагеря в Москву... Хорошо было в лагере. Я познакомился со многими московскими ребятами. В нашем лагере жила испанская девочка Санчес Лусита. К нам приезжал замечательный Кукольный театр артиста Образцова...»

Конечно, многое осталось за пределами этих записей, каждой своей строчкой говорящих мне об отце. Почему-то, скажем, не упомянул я в них о такой знаменитости, как сын Михаила Ботвинника, с которым отдыхал вместе в Ильинском, вполне возможно — даже в одном отряде. Может, потому, что, как и мой отец, я был равнодушен к шахматам. А иначе — мог бы расписать, как к нам приезжал всемирно известный гроссмейстер и дал сеанс одновременной игры.

Словом, знаменитости — знаменитостями, но я, впервые в жизни очутившись один вдали от дома, среди чужих, как мне казалось, чересчур заносчи-

вых московских зазнаек, чувствовал себя до крайности тоскливо и однажды... тайком ушел на станцию, собравшись самовольно уехать на электричке в Москву. Трудно сказать, что бы за этим последовало и не пришлось бы мне повторить наяву приключений Травки (так называется хорошая детская книжка С. Розанова, которая отцу нравилась не меньше, чем знаменитые мусатовские «Стожары» или «Рыжик» Алексея Свирского), если бы меня тут же не воротили обратно. Заведующая, опарашенная столь дерзостным моим демаршем, вынуждена была до ближайшего «родительского дня» взять меня к себе. А когда, наконец, он настал, не без гнева изложила отцу суть моего «возмутительного поступка». Отец — для виду — согласно кивал, но в душе был рад, что я так тянулся к нему, иначе — разве забрал бы он меня из лагеря на целых две недели раньше? Ведь достать путевку в Ильинское стоило великих хлопот...

Кроме дневника, сохранились еще кое-какие документальные свидетельства той поры и среди них — почтовый конверт с послевоенными марками, надписью на машинке: «Илье Ивановичу Шухову» и адресом отправителя: «Ст. Пресновская. Северо-Кавказ. обл.», а в нем — несколько на машинке же отпечатанных отцовских писем. Писались они глубокой осенью или зимой и почти все начинались с сетований на долгое мое молчание.

Перечитывая их, совершенно своеобразные по языку и стилю, по каждому словом доступные детскому пониманию, не будучи в то же время специально «подстроенными» под него и в равной степени трогающие взрослых, каждый раз с сожалением думаю о том, почему отец так и не написал книгу для детей, о которой, по собственному признанию, он всегда мечтал. Внутренне он был давно готов к

ней, с чем, хотелось бы надеяться, читатели согласятся, познакомившись с письмами, которые, как мне кажется, представляют самостоятельную художественную ценность. С такой надеждой и решаюсь предать огласке отрывки из тех давних доверительных отцовских посланий, воспроизведя их в хронологическом порядке с краткими пояснениями.

«Здравствуй, моя хорошая У л ю ш к а!

Получил я ваше письмо. Вижу, что писать вам его не очень хотелось. Писали вы его потому, что маменька вас заставляла. Но вы мне пишите только тогда, когда вам самим захочется написать и когда станет совсем без нас скучно. Делайте так, как делаю я. Я никогда и ничего не пишу, если мне не хочется писать. Так лучше...

...Ашушке передавай от меня привет каждое утро. Вместо «Здравствуй, Ашушка», ты говори: «Тебе, Ашушка, обратно привет от папы!» В нашем подъезде жила многодетная казахская семья; Ашу, или, как все его звали, Ашушка был одним из братьев, по годам — моим ровесником. — *Ил. Ш.).*

Напиши о том, как начнете вы учиться и как будут звать вашу новую учительницу. Я, знаешь, очень хочу арбуза. Ты, небось, ел уже? К моему приезду купите очень большой и сладкий арбуз, чтобы я ел его целую неделю. *До свидания, моя хорошая.*

Ты мое сердечко,
Эх, выйди на крылечко.
Без тебя тоскую я давно-о-о-!

Известный ваш Папенька.

Пресновка.

26 августа 1948 года».

«Как-то вы поживаете там без нас, мои хорошие? Послезавтра вы уже пойдете в школу. И я завижу вам. Когда вы вырастаете, вы тоже станете

завидовать всем мальчишкам, которые будут ходить 1 сентября в школу. Потому что на всю жизнь вам запомнится этот осенний солнечный день и даже запах свежей краски и извести, которыми так хорошо пахнет осенью в школе. Я, например, до сих пор помню все на свете, связанное с первым днем начала занятий в нашей сельской школе. Будешь помнить всю жизнь и ты, если у тебя есть душа и сердце. А у тебя все это есть.

Я третий день живу в Пресновке. У нас уже пахло осенью. Озеро стало неприветливым, и дети перестали купаться. Дни стоят серые, ветреные. Ночи темные. Сад печально шумит по вечерам от ветра. И очень грустно мне вспоминать о том, что когда-то мы с вами играли в этом саду в войну, а теперь я один здесь брожу по пустынным аллеям...

...Нам-то очень скучно без вас. Мы садимся за большую и трудную работу. Мы будем много работать и все время думать о вас. А вы давайте учитесь и нынче отлично, как учились и в прошлом году. Зато весной мы зальемся с вами в наши мирные степи на все лето и покупаемся, и поиграем тогда в войну и в разбойники вволю.

Обнимаем вас, мои дорогие Илюшки, очень крепко и очень нежно. И целуем 21 000 раз!

Остаюсь вашим покорным и верным слугою.

Пресновка,
30 августа 49 г.»

«Во первых строках нашего письма шлем мы вам низкий поклон от всех наших северных степей и пашен, от нежаркого в эту пору нашего солнушка, от ласточек, которые уже собрались к отлету, от ежей, которые уже скоро начнут зарываться в листья, от озера, которое без умолку и днем и ночью шумит и шумит под моим окном... Во вторых стро-

ках, крепко, крепко обнимаем вас за ваше хорошее письмо, которое мы вчера только получили. Маменька говорит, что в письме вашем больше ошибок, чем слов. Ну, мы за это на вас не в обиде. Мы сами с такими ошибками порой пишем, что директор бы ваш пришел в ужас. Я почему-то тоже боюсь маленько вашего директора.

Мы — ничего. Живем тут — как медведи в берлоге. Пишем свое сочинение. Прихварываем немножко. И много скучаем о вас и о маменьке. Позавчера какие-то ребятишки притащили мне ежа... На зиму он заснет в подполье. Там я ему отвел шикарную квартиру со всеми удобствами. А летом я его подарю тебе. Он уже будет совсем ручным и все станет понимать по-русски.

Больше новостей у нас никаких пока нету. В штабе твоём я как-то был. Все заросло и заглохло вокруг. И мне стало очень грустно... Вспоминаю, как хорошо нам жилось с вами минувшим летом в гостинице «Москва», и как там все тебя звали М а л е н ь к и й Ш у х о в, и как я ездил в гости к тебе в Ильинское, и как мы шлёпались с тобой по дороге во ржи Подмосковья.

Ну, ничего. Поскучать в разлуке друг о дружке иногда хорошо и полезно. Настоящая дружба похожа на костер, а разлука — на ветер. Если дружба не настоящая, не большая, то разлука-ветер ее погасит, а если, наоборот, дружба большая, то разлука-ветер раздует ее в большой огонь, как раздувают степные наши ветры в пожары маленькие костры в степи... Правильно?

Пишите нам с маменькой почаще.

И звоните по воскресеньям.

Пресновка

16 сентября 49 г.»

«Здравствуй, моя хорошая! Редко вы с маменькой пишете письма мне. А я без вас и без ваших писем совсем соскучился. Погода у нас — не разгуляешься. Дождь. Ветрище — не продохнешь. Стужа. Снег даже падал. Но это еще просто так, не зима. До зимы еще далеко. Леса еще не обнажились. Стоят все в золоте, в ярких осенних красках. Месяц родился озорной, тонкий, веселый. Стары люди говорят: «Месяц на рогу — к ведру. Быть ишо хорошей погоде перед снегопадом».

Еж обжился у нас. Хозяйничает... Заходит ко мне в кабинет. Сидит и слушает, как я стучу на своей машинке. Очень понимающий еж!.. Бобка с ним не ладит — дружба не берет. Потому что у ежика очень колючие иглы, а Бобка этого еще не знал и наколол морду. Поэтому теперь все время на ежика попусту лает. Ежик сначала тоже сердился на Бобку. Потом понял, что собака еще не смышленная, ума у ней не палаты, и перестал обращать на нее внимание.

Позавчера утонул в нашем озере старый рыбак. Это был замечательный дед 86 лет. Я его очень уважал. Мы с ним дружили. Его застала на озере буря, когда он поехал снимать свои сети. Ветер поднял большой вал. Лодку вынесло из камышей и поперло в открытую воду. Дед был старый, силы у него — не ахти. Не справился с непогодой. Ну, лодку бросало, бросало по волнам из стороны в сторону, а потом и перевернуло. Дед хоть и умел плавать, да с перепугу силы оставили его, и он утонул. Мне очень жалко старика. Неунывающий был человек. Очень трудолюбивый. Шутник. Любил деревенских ребят. Ребятишки тоже души в нем не чаяли. Вот какое печальное событие случилось у нас на озере в непогожее утро позавчера.

Напишите мне, Улюшки, письмо про свое житье-бытье и про школу. Много ли у вас пятерок? Не переппадают ли грешным делом двойки? Ходили ли вы с любезной нашему сердцу маменькой на спектакли кукольного театра Образцова? Если ходили, я вам очень завидую. Это превосходный театр, а С. Образцов очень талантливый человек, почти такой же талантливый, как талантливы его куклы!

Пресновка.

28 сентября 49 г.»

«Крепко, крепко целую я тебя, моя ты хорошая, за твое письмо. Очень мне приятно, что ты отличник, что решаешь теперь такие трудные задачи, которых подчас и маменька наша не может решить. Ну, а мне — уж куды там!

Я живу по-прежнему. Много работаю. Очень мне трудно бывает здесь одному. У нас теперь настоящая зима. Сугробы в саду. Метели. Зайчишки к нам бегают в сад вечерами кормиться корой молодых тополей — это их любимое лакомство. Волков тоже много. На днях мне рассказали, что в соседнем селе Казанском волки забрались ночью во двор к одному старику и задушили двух овец, а трех увели живыми. Водят они овечек так: берут зубами за ухо, а хвостом понужают, и овечки покорно рысцей бегут туда, куда их ведут звери. Вот какие хитрые и умные эти хищники!

Ежик совсем заспался. В него теперь можно играть, как в футбольный мяч, он все равно не проснется. Кот Никита совсем обленился, тоже все время спит и только редко по вечерам рассказывает мне разные свои сказки...

...До свиданья, мой ангел. Руки чешутся — хочется с вами подраться. Целую вас несчетно раз. Ба-

ушке поклон сказывай. Передай от меня привет директору школы и твоей учительнице.

Пресновка.

25 ноября 49 г.»

«Здравствуй, Илюшка!

Долго же я ждал твоего письма — битых два месяца. Но теперь вижу, что не дожидаться и в полгода. Нужда, видно, во мне у тебя на время отпала и ты разумно решил, что я проживу и без твоих писем. В обиде на тебя и Михаил. Пока, говорит, я его учил на машине, он обещал мне золотые горы, а как уехал — письма забыл написать. И он прав, разумеется. Надеюсь, ты сам понимаешь, сколь это дурно.

Ну, ладно. Понять дурное — наполовину исправить его. Думаю, что ты справишься не на половину, а «весь и сразу», как говорит Генка. (Один из моих деревенских друзей.— *Ил. Ш.*).

...Михаил после праздников уедет, видимо, на Волгу и вряд ли вернется к весне, хотя и обещает вернуться. Очень мне грустно расставаться с ним. Человек он — редкой души, открытый, доверчивый, как ребенок...

...Генка гоняет теперь по утрам на водопой корову и по-прежнему лихо свистит, когда проходит мимо нашего дома, — это, чтобы услышал я. Я слышу. И мне всегда становится грустно при этом. Я вспоминаю минувшее знойное лето, веселые наши игры в саду, на озере, и меня очень трогает привязанность Генки ко мне...

...Передай от меня привет Еркашке с Ашу и Нурлашкой. О них я часто вспоминаю почти с такой же грустью и нежностью, как и о тебе...

29 октября 52 г.

Пресновка».

«Долго же ты собирался написать мне письмо, а еще дольше шло оно до меня. Получил я его только после праздников. Очень оно обрадовало меня. Огорчили только твои небаские отметки за I-ю четверть. Но я убежден, что во второй четверти ты все их исправишь. Двойка по физкультуре — это уж совсем позор для мальчишки! Я просто не понимаю, в чем тут дело. Ужели ты так разленился и раскис, что не в силах был проделать нехитрые упражнения на трапеции или на кольцах? Ведь из Пресновки уехал ты совсем ладным, крепко сбитым, окрепшим. А тут вот тебе на — двойка! Из-за этого я и Михаилу не показал твоего письма, а только прочитал ему его, опустив это место...

...У нас начались правильные, как Михаил говорит, морозы — по 40 градусов с гаком. По ночам дом наш буквально гудит — это поют провода и стонут трубы. Несмотря на это, я каждое утро выбегаю без рубашки в сад и натираюсь до пояса снегом...

...Генка передает тебе привет... Одет он очень плохо, не в пример Вовке. (Своему сводному брату — *Ил. Ш.*). У Вовки — хорошее пальтишко и новые пимы, у Генки — старые отцовские сапоги и худая куцая куртка. Он и в школу ходит все в той же беленькой рубашонке с короткими рукавишками, в которой бегал летом. Ты обязательно напиши ему письмо. Дружбой с таким товарищем надо дорожить и беречь ее.

С нетерпением жду «Глинку». В кино, как ты знаешь, я здесь не хожу. Но эту картину готов смотреть все сеансы подряд. Не знаю сам, почему она так меня тревожит и волнует.

Я нигде не бываю совсем. Сажу и работаю. Много читаю. Много пишу. Что из этого выйдет, увидим. Глаз мой левый совсем закрылся, даже днев-

ного света не вижу им. Пора ложиться бы на операцию. Но как вспомню о пережитых моих страданиях, так оторопь берет, и вот все тяну и тяну. (Двумя годами раньше отец перенес операцию на правом глазу.— *Ил. Ш.*). Хочу дотянуть до января. Старые люди говорят, что не следует ложиться в больницу в этом году, так как год этот тяжелый — високосный! Бог знает, может быть, они и правы...

...Поклоны твои всем передал по порядку. И все тебе в ответ кланяются. Особенно часто про тебя спрашивает Аксинья. Помнишь ли ты, Илюшка, дядю Семена Архипыча, которого ездили мы встречать нынче в Макушино? Он умер. Прилег днем на кровать отдохнуть и не встал больше. Очень мне жалко его. Большой души это был человек.

Ну, до свидания, мои хорошие. Постарайся исправить за эту четверть свои отметки. Будь здоров. Не ленись. Не раскисай. Занимайся непременно физзарядкой. Не бойся холодной воды и сквозняков. Словом, будь мужчиной! Не забывай, что года через 3 тебя могут взять в армию, а солдата надо в себе воспитывать теперь.

Пресновка,
26 ноября 52 г.»

...Вот и все... А после от отца очень долго не было ни писем, ни звонков и, понятно, вовсе не по моей вине. И как же я, мальчишка, переживал ту затяжную и, главное, необъяснимую разлуку. Ведь позади было же столько отрадного, чистого, светлого!..

К счастью, разлука длилась не беспрельдно.

И «первой ласточкой», предвещавшей добрую перемену в наших отношениях, был приезд отца в Алма-Ату в сентябре 54-го года на Третий съезд

писателей Казахстана. Мы встретились, и в свободный от заседаний день он взял меня к себе в Дом отдыха ЦК, где жил в то время вместе с другими делегатами и гостями: Михаилом Шолоховым, Николаем Грибачевым, Леонидом Леоновым, Ираклием Андрониковым, Мирзо Турсун-заде, Камилем Яшеном, Елизаром Мальцевым, Павлом Кузнецовым, Иосифом Нонешвили, Сергеем Смирновым, Сергеем Васильевым... Я впервые увидел тогда столько именитых литераторов, что, помнится, даже слегка оробел. Они чувствовали себя раскованно, смеялись, шутили «поддевали» друг друга — настроение у всех было отличное. Этому, наверное, способствовали и чудесная солнечная погода мягкой алма-атинской осени, чистый воздух предгорий, аромат отягощенных яркими плодами фруктовых садов, журчание прозрачной воды в арыках.

Меня удивили простота и непринужденность, с какими держались писатели по отношению друг к другу. Помню, например, Михаил Александрович Шолохов, завидев Ивана Петровича, приветливо, с лукавой улыбкой восклицал: «Ну, как дела, казачок?» А там, где показывался Ираклий Андроников, — в столовой, гостиной или беседке, — вокруг мгновенно собиралась веселая компания, и все прямо-таки помирали со смеху от его бесподобных и бесконечных юмористических рассказов.

Право на приятельское общение Шолохову и Шухову давали десятилетия возникшей еще в юности дружбы, личных и творческих контактов. Двадцать с лишним лет спустя после встречи в Алма-Ате отец в одном из нечистых своих газетных интервью рассказывал, что судьба свела его с Шолоховым еще в 1927 году. Они встретились в «Журнале крестьянской молодежи», где печатались «Донские рассказы» Михаила Александровича, а также и его,

Ивана Петровича, самые первые произведения. Завотделом редакции работал Василий Кудашев, один из самых близких друзей их юности. Когда в начале 1932 года Шолохов приезжал в Москву из-за задержки журналом «Новый мир» публикации «Поднятой целины», Иван Петрович и Кудашев были одними из первых, кому он прочитал начальные главы своего романа.

Отец подчеркивал особое внимание Шолохова к казахской литературе, напоминал, что в выступлении на том самом писательском съезде Михаил Александрович сравнил ее с молодым орленком, который быстро и уверенно завоевывает все новые и новые высоты.

«Сейчас я работаю над книгой мемуаров,— общал Шухов в заключение.— Хочу написать в ней о людях, встречи с которыми стали для меня не только запоминающимися и радостными, но служили творческим стимулом. И, конечно же, особо хочется рассказать о дружбе с Михаилом Александровичем Шолоховым, личность и творчество которого являются для меня предметом восхищения и гордости».

Осуществить этот замысел, как и многие другие, отец, увы, не успел...

Вернемся, однако, к съезду. Настроение у Ивана Петровича было приподнятое. Он выглядел бодрым, можно сказать,— окрыленным: после длительного молчания появились в центральных газетах его очерки о людях целинного края, и, пожалуй, тогда не существовало в художественной публицистике темы более важной и благодатной, чем грандиозная целинная эпопея, только еще начинавшая разворачиваться в бескрайних степях Казахстана и Алтая. В одном из очерков того же 54-го года он признавался, что «вновь обрел счастливую жажду к бес-

сонной, нервной, радостной и мучительной работе...», испытав затянувшийся творческий кризис, «который с такой беспощадной прямоотой и правдивостью большого художника описал Александр Твардовский в своей превосходной поэме «Задалью — даль». И не я ли в числе прочих пережил такое время!

Когда был всеми дружно встречен,
Самим Фадеевым отмечен,
Пшеном в избытке обеспечен,
Друзьями в классики намечен,
Уже почти увековечен,
И хватить писать — пропал запал.
Пропал запал! По всем приметам,
Твой гордый день вступил в права.
Все — звоном, запахом и цветом —
Тебе нехороши слова...

«Нет, не в укор и не в оправдание себе,— писал Иван Петрович,— привожу я удивительные эти строки, а в подтверждение той горькой правды, которую высказал за многих из нас большой поэт, в свидетельство того незавидного душевного состояния, в котором пребывал долгое время и я...»

Не знаю точно, как насчет «пшена» (раньше в письмах из Пресновки отец нередко сетовал на стесненные материальные обстоятельства), а вот критика все эти годы совсем не баловала его своим вниманием. Более того, отчетливо помню напечатанную в одной республиканской газете не слишком-то корректную карикатуру вместе с бойкой эпиграммой по поводу того, что «у Шухова Ивана нету нового романа».

И хорошо, что тягостная эта полоса осталась позади, и Иван Петрович, вдохновленный теми животворными переменами, которые принесли в деревню программные документы сентябрьского Пленума Центрального Комитета партии, ощутил тягу

«к активному вторжению в эту полную новизной жизнь» и вернулся к творческой работе, по какой вдоволь натосковался. И в те дни золотой алма-тинской осени жил радостным, волнующим ожи-данием предстоящих дальних дорог, встреч с поко-рителями целины, новоселами в дорогом с детства его сердцу крае, разбуженном индустриальным гу-лом великого народного наступления на древние казахстанские степи.

На память он подарил мне свежие съездовские фотоснимки. Вообще-то он не любил фотографиро-ваться, но тогда — под настроение — снялся вместе с друзьями-писателями — Шолоховым, Сабитом Му-кановым, Павлом Кузнецовым, Елизаром Маль-цевым...

Спеша к героям своих будущих целинных очер-ков, отец улетел в Петропавловск, кажется, на дру-гой же день после окончания съезда. И хотя в на-ших разговорах мы не касались дальнейших жиз-ненных планов, — как-то, не сговариваясь, стара-лись обойти эту трудную тему, — у меня, под впе-чатлением тогдашнего отцовского оптимизма, поя-вилась надежда, что скоро все образуеться.

Так оно и получилось. В самом конце пятидеся-тых годов он сдал государству свой пресновский дом, переехал в Алма-Ату, и отношения наши на-ладились.

Завершающая эта пора оказалась для отца до-вольно ровной в обыденном смысле и плодотвор-ной — в писательском. Вместила она многое: поезд-ки за рубеж, одиннадцать лет работы во главе «Простора», а значит — и заинтересованного учас-тия в делах не только литературных, но и общест-венных, государственных, и — самое важное для писателя — новые книги, из которых последняя — «Пресновские страницы», как известно, нашла боль-

шое признание, удостоилась Государственной премии Казахской ССР.

Характерным мне кажется эпизод, относящийся к концу пятидесятых годов — времени моего учения в университете. Ежегодно мы выезжали, как принято сейчас говорить, на свой трудовой семестр — уборку урожая — в целинные совхозы.

Один из таких семестров проходил в отдаленном Кийминском районе. Привезли нас туда тем летом рано, задолго до начала жатвы, и мы, до поры до времени, были заняты на разных подсобных работах. А когда, наконец, страда началась, однажды на току, где мы перелопачивали зерно, я неожиданно увидел отца. Он приехал специально — повидаться, узнать о моем житье-бытье. Обрадовался я его приезду несказанно. А тут как раз резко испортилась погода, пошли дожди, и работа на току приостановилась. Отец собрался в Кийму. Я вызвался проводить его до райцентра и, получив дозволение своего начальства, поехал туда вместе с отцом.

В Кийме нам, однако, не повезло: два дня стояла нелетная погода, самолета не было и, пока его дожидались, я, как на грех, заболел. Мест в тамошней маленькой больнице не оказалось, и мы вдвоем пошли в штаб студенческих отрядов посоветоваться, что мне делать дальше. Руководитель штаба, из почтения к Ивану Петровичу, отнесся ко мне с полным вниманием, вошел в положение и, учитывая сложность ситуации, разрешил лететь домой, с тем, чтобы после выздоровления я вернулся обратно. На том и порешили. Погода, к счастью, наладилась, и мы отбыли в областной центр, а оттуда — в разные стороны: я — в Алма-Ату, отец — в Пресновку.

Дома здоровье мое вскоре поправилось, и я пошел в университет. В деканате мне сказали, что не будет ничего предосудительного, если время,

оставшееся до окончания трудового семестра, я отработаю в городе на одной из студенческих строек.

Однако дома меня ждала отцовская телеграмма — лаконичная и строгая: «Предлагаю немедленно вылететь согласно моей договоренности месту работы. Одновременно телеграфирую ректору университета».

В тот же день я купил билет на ближайший рейс и поздно ночью вылетел на целину. И с легкой душой работалось мне потом вместе с сокурсниками до последнего дня уборки, и радостно было возвращаться домой с сознанием своего до конца исполненного долга.

Нет, все-таки он был тысячу раз прав тогда, преподав мне хороший нравственный урок — урок верности твердому мужскому слову.

...А отцовские письма на плотной пожелтелой бумаге щемяще напоминают о лучшей поре детства. Они — частица неповторимых, навсегда со мной остающихся, моих Пресновских страниц. Память о человеке сложном, беспокойном, порой по-житейски «неудобном» и трудном, но при всем том — это особенно видно теперь — бесконечно мягком, доверчивом, добром какой-то подкупающе трогательной, земной добротой. Он сам мучился от раздвоенности, неспособности благополучно устроить быт, но, мучаясь, внутренне стремился не к разладу, а к гармонии — к такому мнению приходишь, перебирая связанные с ним важные и обыденные факты, события, подробности.

Он тянулся к простым людям, а тех, в свою очередь, видимо, привлекали его открытость, благожелательность к собеседникам, непоказной, природный демократизм. Наверное поэтому столько доводится слышать об Иване Петровиче теплых, уважи-

тельных, а то и восторженных слов от разных — знакомых и незнакомых людей.

Вспоминают, как любил он перекинуться словом, говоря, напрямую, «без придури», то, что ду- мал. Как умел метко, но не обидно «поддеть» дру- гих и сам — посмеяться шутке. Как ходил в любую погоду, зимой и летом, налегке, ворот — нараспаш- ку, меньше всего заботясь о внешней респектабель- ности. И шло это не от неряшливости: просто, зная толк в изящных, добротных вещах, он никогда не возводил их в абсолют, почитая в жизни совсем иные ценности.

Сколько помню, любовно относились к отцу и простые труженики земли, и, наверное, есть своя символика в том, что именем Шухова в Алма-Ате отныне называется не какая-нибудь иная, а бывшая Крестьянская улица. И на родине, в Петропавлов- ске, тоже есть теперь улица его имени.

...А в опустевшем отцовском кабинете все остает- ся, как было в тот скорбный день, когда хозяин ушел отсюда навсегда. На письменном столе лежит номер журнала «Румыния» — о постигшем страну землетрясении. Во всю обложку снимок: стена раз- рушенного дома, на ней — часы с замершими от мощного толчка стрелками. Эта и другие не менее трагичные фотографии глубоко поразили отца — он никогда не оставался равнодушным к людским страданиям и боли.

На низком журнальном столике со стилизован- ной под старину лампой всё так же соседствует книжка Карамзинской «Истории...», а в шкафу стоят тома «Толкового словаря» Даля — к ним отец обращался постоянно.

В одном из ящиков письменного стола хранится коричневая книжечка — членский билет Союза пи- сателей СССР за номером 733. Ниже номера поме-

чено: время вступления в Союз — 1 июня 1934 года и подпись: «Председатель — М. Горький». Первый писательский билет Ивана Петровича...

А вот подлинники трех адресованных ему горьковских писем отец почему-то никогда никому не показывал. Обнаружили мы их лишь недавно и — совершенно случайно. Два из них отпечатаны на машинке (причем, первое — на обеих сторонах листа: по-видимому, сказывался острый дефицит бумаги), третье, короткое, написано от руки характерным мелким, но вполне разборчивым почерком.

Вместе с критическими замечаниями в письмах великого писателя содержится и немало лестных для Шухова слов. Так отчего же столь старательно сохранял он эти горьковские послания в тайне от всех, не исключая даже близких. Кто знает...

Свое отношение к Алексею Максимовичу он выразил так: «Если говорить о счастье, подаренном мне не щедрой на него жизнью, то я обрел его в далекой зоревой моей юности в общении с Горьким, встречах с ним.

Этому великому имени я — как, видимо, и многие иные писатели моего поколения — обязан всем, что есть во мне и в писаниях моих доброго, теплого, светлого».

Это высказывание об основоположнике советской литературы, дорогом для Шухова писателе и человеке, было напечатано в «Казахстанской правде» 28 марта 1968 года.

А книги... Отец держал их на виду, под рукой, но, как уже говорилось, не для антуража. Когда-то, в Пресновке, была у него довольно богатая библиотека; здесь же осталась от нее лишь маленькая часть. Остались книги — дорогие старые друзья, а их, старых друзей, как водится, бывает так немного...

К счастью, многое дополняют здесь его письма, размышления разных лет — о писателях и их книгах, о прочувствованном и пережитом. Знакомясь с эпистолярным наследием, ощущаешь всю силу любви Ивана Петровича к литературе и искусству, необычайно тонкое, глубоко личностное, как принято теперь говорить, их восприятие. В своих отзывах о прочитанном он бывал прямым, избегал неопределенных, половинчатых оценок. Если уж что принимал душой, так принимал безоговорочно, не жалея самых высоких, восторженных слов о предмете своего увлечения. Перед войной ему, 32-летнему, понравились такие лирические строки:

И я думал — нет, любовь не это!
Как пожар в лесу, любовь судьбе.
Потому что даже без ответа
Я отныне обречен тебе.

Не могу, правда, сказать, по-прежнему ли волновали его эти стихи и впоследствии; интересна тут именно личностность восприятия: отцу казалось, что написано это о нем самом. Подобный отзвук несколько лет спустя вызвал у него Джек Лондон. «И мне, как Д. Лондону, хотелось бы взойти на вершину высочайшей горы и крикнуть миру о нас с тобою, как ему хотелось крикнуть о своей Чармиан», — писал он моей матери.

Ей же советовал: «...непременно прочти записки Ильфа, и ты увидишь за этими отрывочными, бесвязными фразами настоящего писателя, обаятельного человека, в котором много светлого ума, иронии и человеческой грусти. Вот здесь, в этом человеке чувствуется его огромная любовь к жизни, к литературе, большое внутреннее обаяние и культура. Посмотри, как просто и, на первый взгляд, незначительно все у него в наблюдениях, в обрывках

фраз и как в то же время умно, тонко, талантливо».

«Читала ли ты «Малахитовую шкатулку» П. П. Бажова?— спрашивал отец в 43-м году.— Вот это шедевр! Недавно он прислал мне эту свою книжку с трогательным автографом. Мы с этим изумительным стариком работали около двух лет в Уральской крестьянской газете. Премию он заслужил. Только я бы ему дал первой степени...»

Тогда, в военные годы (да и после), Ивана Петровича особенно привлекало творчество Алексея Толстого.

Тяжело пережил Иван Петрович в 45-м году кончину большого художника: «Услышав по радио о смерти А. Толстого, я целых двое суток бродил сам не свой по тихому, пустынному и светлому пресновскому дому,— писал он в Алма-Ату.— Затем взялся за «Хождение по мукам» и временами буквально не мог читать от волнения, от спазм в горле, от какого-то почти священного душевого трепета перед могучей, нечеловеческой силой его дарования. После смерти писателя вещи его обретают иную значимость, а образы — иной блеск и иную глубину мысли. Нет, я не знаю в современной литературе вещи, равной его гениальной трилогии, и мастера, равного ему по знанию русского языка и русского народа».

О круге чтения, размышлениях и переживаниях Ивана Петровича дают представление и другие его письма. Приведу еще несколько выдержек.

«Олдингтона я не читал. Но вряд ли эта вещь превосходит такой шедевр мировой антифашистской литературы, каким является изумительная книга венгерского писателя Ганса Габе «Побег». Я не знаю ничего равного этой книге из западной литературы за последние десять лет».

«...в 7-й книжке «Нов. мира» (за 1945 год — Ил. Ш.) напечатан великолепный рассказ А. Пла-

тонова — «Никита». Рассказ все об одном, все о том же. Все рассказы этого превосходного и большого писателя в сущности одинаковы. Они проникнуты маниакальной страстью к очеловечиванию вещей и каким-то трагическим и зловещим светом, которым он озаряет детскую душу.

В этой же книжке печатается превосходная повесть польской писательницы Шемплинской о падении Варшавы и разгроме Польши в эту войну. Хорошая, темпераментная, талантливая повесть».

Из письма 48-го года: «...надо писателю ездить. Очень много ездить и наблюдать. Но не так наблюдать, как думают некоторые наши литераторы, чтобы все записывать в дневники и модные записные книжки. А наблюдать подсознательно, интуитивно, о чем хорошо сказано в одном из великолепных рассказов А. Толстого. Я читаю сейчас его рассказы — один одного лучше. Прочел и роман его «Эмигранты», называвшийся прежде «Черным золотом». В примечании к этому роману сказано, что Толстой писал: «Меня так бранили за этот роман, обвиняя в халтуре и в прочих грехах, что мне иногда казалось, что делается это затем, чтобы сорвать работу над этой вещью. Но я продолжал писать». А роман великолепный. Язык — чудо. Сюжет — немыслимо оторваться. Вот тебе и халтура!»

Из писем года 49-го: «Пьесу Паустовского («Наш современник» (Пушкин) в журнале «Новый мир» за 1949 г.— *Ил. Ш.*) прочитал. В один присест. Некоторые сцены волновали необыкновенно: прощание с Воронцовой. В Михайловском — с няней и Пушиным... Но в целом, как говорят рецензенты, у меня осталось глухое чувство неудовлетворения. Не могу сразу объяснить, в чем тут дело. Очень много разговаривает Пушкин наедине. И слишком литературно, гладко и умно говорит. Когда няня

спрашивает его: «Скучно тебе, Сашенька?» — этому веришь. Так вот она его и спрашивала. Но он отвечает няне уже не то и не так, как отвечал. Нет, трудно писать о Пушкине! Тут надо быть Чеховым. И гениально поступил гениальный Булгаков, не показав в своей пьесе Пушкина. Конечно, Паустовский и тут талант, ничего не скажешь».

«...выручил Мамин-Сибиряк. Взялся за его «Хлеб» и понемногу успокоился. Такова уж великая сила искусства. Гениальный писатель. Гениальная книга. Какие люди! Какие большие страсти! Какие женщины! Какой язык! Какая наблюдательность! Какое мастерство! Я в восторге от этого писателя!»

«Читаю Алексея Толстого. Боже мой, что за сила, что за язык у этого потомственного барина! Иногда с грустью подумаешь: «Куды нам, хрестьянам, за графами! Они лучше нас знали и любили чудесный язык наш, которым мы разговариваем». Ну, ничего, иногда мы тоже в себе силу чувствуем и выглядим за рабочим столом князьями во князьях!»

«Нет, что за прелесть — народный русский язык, что за поэзия, что за чудо! Толстые и Бунины учились этому языку вот у таких самобытных, простых и талантливых людей, как наш тракторист Ваня Привалов».

«Работаю я, кажется, совсем не плохо. Можно сказать — хорошо. Трудно, но хорошо. Кажется, получается по-настоящему то, что надо. Извольте послушать, как хорошо у меня поют казаки:

Займись, зоренька медовая.
Расступись, седой ковыль.
Прощай, барышня бедовая,—
Полупесня-полубыль!

Правда, здорово?! Покажи мне такое кто-нибудь другой, я бы сказал — здесь есть душа, здесь есть

настоящее дарование. Потому что это по-настоящему сказано просто, честно и искренне. Потому что, кажется, этого нельзя сочинить, или, наоборот, ничего не стоит написать такое каждому, мало-мальски грамотному человеку. Ан, попробуй-ка написать. Не так-то это просто, как думается. И если нет у тебя в душе этой медовой зореньки, никакие университеты и Дали не научат увидеть эту зореньку в жизни и сказать о ней так просто, душевно и хорошо».

Год 52-й: «Вот прочел на днях в «Огоньке» рассказ С. Антонова «В тихой станице»... рассказ поистине превосходный, глубоко эмоциональный. Он весь из недомолвок и полунамеков. В нем есть то самое «чуть-чуть», без которого нет настоящего искусства, как любил твердить Ф. И. Шаляпин».

Год 53-й: «Андрей Алдан?! Поклонись ему от меня. Я до сих пор помню его отличные строки:

Проходи же, полночь, проходи,
Ни тайги, ни зверя не буди.
И глаза, зеленые от страха,
Закрывай, седая росамаха!

Это — поэзия».

То время было для Ивана Петровича очень не легким: долго не работалось, серьезно ухудшилось зрение, пришлось поехать на лечение в Омск. Обо всем этом он написал в Алма-Ату 8 марта 1953 года: «Пошел второй месяц моей затворнической жизни в Омской глазной клинике. Давно собирался написать вам, но не делал этого в ожидании операции, которую пять раз назначали мне и пять раз откладывали из-за незначительного воспаления в левом глазе.

За минувший месяц я приобрел в клинике немало хороших друзей, но лучшие из них — Ваня По-

техин и Юрка Бураков. Один из шестого класса, другой — из пятого. У одного извлекли осколок из глаза, у другого удалили правый глаз, выбитый рогаткой. Ребятишки очень привязались ко мне, буквально не отстают от меня ни на шаг и никак не могут поверить, что я умею писать книги.

У меня почти ежедневно бывает Почивалин. За месяц я много перечитал... Роясь в комплектах «Нового мира», нашел в одном из номеров большую статью о себе, которой никогда не читал, и еще одну статью о читательской конференции рабочих Ростовского завода Сельмаша, на которой разбирались «пять наиболее читаемых книг», в том числе и «Не-нависть». Взгрустнулось немного не то от былой славы, не то просто от тихого милого мартовского снега, падавшего в сумерках за окном...

Режим у нас в клинике строгий. Подъем в 7. В 10 — в постель. Но мне потакают. Позволяют читать в профессорском кабинете до 12 ночи...

Ну вот и все, кажется, о невеселом моем больничном житье-бытье».

В такие грустные минуты его спасало только чтение. Охотнее всего перечитывал Иван Петрович прозу Бунина. На рабочем столе часто можно было увидеть раскрытой ту или иную его книгу. Пожалуй, нет современного отечественного издания этого классика, которого бы не обнаружилось в отцовской библиотеке. И характерно, что только для него, Есенина и Паустовского отец сделал своего рода исключение, «допустив» к себе их собрания сочинений. В последнем, девятом, томе Бунина, где помещен алфавитный указатель произведений, рукой Ивана Петровича обозначено около сорока вещей, видимо, особенно, на его взгляд, примечательных. А страницы «Жизни Арсеньева» так и пестрят от разноцветных карандашных пометок.

Во второй черед, безусловно, надо сказать о Павле Васильеве, который также представлен несколькими изданиями. Одно из них — 1957 года — преподнесла вдова поэта — Е. Вялова-Васильева. На титуле — надпись: «Ивану Петровичу Шухову в память дружбы с моим мужем, о Ваших встречах с ним и душевных беседах, примите от меня самое дорогое — книгу его стихов». Это был действительно счастливый дар; прекрасный поэт возвращался к людям после долгого несправедливого забвения.

Высоко ценил Иван Петрович «Слово о полку Игореве», фольклорное наследие — его образы представлены книгами «Русские скоморохи» и «Русские народные песни», где во вступительной статье отмечено, что Горький неоднократно вводил тексты народных песен в свои художественные произведения. Немало чудесных казачьих песен — героических, лирических, шуточных — встречается, как известно, и в романах и повестях Шухова.

Значительную часть составляют книги русских советских писателей нескольких поколений, с многими из которых Иван Петрович был на различных этапах своего литературного пути связан чувством взаимной симпатии и дружбы.

...Вот скромный, вышедший в 1937 году в Архангельске на серой газетной бумаге томик романа «Железный поток» Серафимовича с его дарственной надписью. Мемуары Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь» — тоже с авторским посвящением... «Беремена» Анны Ахматовой. «Стихотворения и поэмы» Бориса Корнилова и Бориса Пастернака, «Пятьдесят лет в строю» Игнатьева. Роман «Два мира» Владимира Зазубрина — писателя, которого, как и отца, в свое время напутствовал в литературу Горький. «Беседы при ясной луне» Шукшина. «Живи и помни» Валентина Распутина. (Отец читал эту

повесть в журнале и однажды поинтересовался, прочел ли я ее. Я ответил, сейчас, дескать, столько всего печатается — за всем не уследишь... «Нет, ты прочти: это здорово», — сказал он. Я удивился: отец по-горьковски требовательный в оценке литературных явлений, похвалы, как правило, раздавал очень редко. А вскоре, когда повесть отметили Государственной премией, Ивана Петровича среди нас уже не было...

Искренне радовался он приходу в литературу таких талантливых, близких ему по духу писателей, как Василий Шукшин, Федор Абрамов, Василий Белов.

...В свое время Бунин, по воспоминаниям его жены Веры Николаевны, советовал молодому Валентину Катаеву: «Нужно читать больше, не только беллетристику, но и путешествия, исторические книги и по естественной истории». Не знаю, слышали об этом совете любимого своего писателя отец, но поступал именно так, не замыкая круг чтения одной только художественной литературой. С интересом читал он книги «Григорий Николаевич Потанин» академика В. А. Обручева, «Фрам» в Полярном море» Фритьофа Нансена, «Мои воспоминания» — выдающегося деятеля старой русской армии А. А. Брусилова, «Тобольско-Петропавловская операция» В. Ф. Воробьева — оперативно-тактический очерк действий Красной Армии по окончательному разгрому остатков войск Колчака осенью 1919 года, «Чокан Валиханов» Х. Айдаровой, «Земной круг» Сергея Маркова, «Записки хирурга» С. Юдина...

Из литературоведческих работ были у Ивана Петровича две, принадлежащие перу москвича Николая Страхова. Одна из них — «Петр Замойский» — преподнесена членами семьи Замойских «в память о большой дружбе двух замечательных

писателей». Другую — о писателе Александре Неверове — подарил отцу сам автор. В книге этой есть строки и об Иване Петровиче, чьи произведения ставятся критиком в один ряд с «талантливыми произведениями М. Шолохова, Ф. Панферова и других художников, ярко запечатлевших сложный и мучительный процесс великого перелома» — революционного переустройства деревни.

И — еще немало книг с авторскими посвящениями: по ним можно проследить хронологию и географию многочисленных отцовских поездок — в Москву, Ленинград, Прибалтику, Новосибирск... Всюду у него были друзья; и книги Юрия Трифонова, Сергея Маркова, Евгения Долматовского, Иосифа Нонешвили, Константина Ваншенкина, Глеба Горышина, Владимира Гордейчева, Анатолия Иванова и других литераторов остались как память о бывших дружеских писательских встречах...

Среди прочего в ящике письменного стола хранится в одной из папок тетрадка из сложенных вдвое листов плотной желтой от времени бумаги. На первой ее странице значится: «Иван Шухов. Записная книжка. Ст. Пресновская, 41 г.». Тетрадка тонкая — всего семь страниц на машинке. Есть тут записи короткие, афористичные, в одну строку, есть и маленькие новеллы, раздумья, филигранные словесные зарисовки. Например, такие:

«Шел глубокой зимней ночью из клуба. Было тревожно светло от полного месяца, от чистого снега и легкой поэмки, со свистом скользящей у ног. Мертва, тиха и пустынна была станичная площадь. В окрестных домах и избах ни огонька. Голубая и призрачная лежала за озером степь. И вдруг среди заколдованной тишины и полуночного деревенского покоя загремели густые и мощные звуки баяна, и чудесная русская песня о взгрустнувшем ямщике во

всем се великолепии, блеске, тоске и тревоге полилась из надклубного репродуктора в этот великий, овеянный легкою вьюгой, степной простор».

«Ничто так не отталкивает в людях, как болезненное стремление показаться умнее, сложнее и одареннее, чем о них думают».

«Двадцать лет спустя, он снова увидел дом, на который не мог без волнения и трепета смотреть в юности. Все тут было, как прежде, покрыто великой, недоступной разуму, тайной. Наглухо были задернуты белые занавески в чистых и ясных окнах. Розовые лепестки герани наивно и трогательно выглядывали поверх занавесок из-за переплетов оконных рам. И только тополь под северным окошком, запомнившийся с юности веселым и гибким подростком, возмужал и хмуро шумел на осеннем ветру. Нелегко же, должно быть, далась ему одинокая жизнь в палисаднике, если так притулился он к этому дому и по-человечески устало оперся ветвями о поблекший резной карниз...»

«Любовь, которую я знаю по романам, мне не понятна,— говорится в дневнике Кропоткина.— Но я понимаю, что возможна такого рода любовь: вот человек, который пришелся по мне, на всякую мысль свою я нахожу отзыв, сочувствие. Всякий шаг мой вперед по пути радует его, дает ему силы и самому идти дальше, неудача моя заставляет его думать, как выпутаться. Разве может не явиться потребности быть вместе?»

В рассуждении этом есть какая-то детски-строгая и чистая серьезность. Кропоткин, видимо, писал это, еще никого не любя. Но все-таки это хорошо сказано».

«Один омский профессор говорил так:

— Опять звезда прет по небу!

И он же сказал однажды:

— Цифры сильнее слов, даже любовных». «Вася — станичный радист — говорит: — На трех лампах Москву качаю!» «Толк найду — ум потеряю, ума наберусь — толку нет. Вот так и мыкаюсь», — говорит Агриппина».

Из записей 1942 года:

«Комендант на ст. Волхов с фамилией Нечуй-Ветер».

«Разговор с мальчишками на разъезде где-то за Бумом:

— Курите?

— Факт.

— И давно?

— С измалетства этим делом занимаемся...

— А лет сколько?

— По четырнадцатому году пошло.

— Орлы ребята!

— Таких ребят редко девки родят, больше — бабы...»

«Бежал под пулями и старался думать в эту минуту о самом дорогом, самом значительном. А в голову лезли какие-то дурацкие стихи про чижа. Потом зачем-то воскрес в памяти — и очень ярко — седой официант из ресторана, похожий на Сергеева-Ценского, и чистильщик сапог, которого видел лет десять тому назад в Батуми, и какая-то девка с красивыми, глупыми глазами, у которой покупал мороженое на Пречистенском бульваре. И когда, наконец, подумалось: «Боже мой, зачем мне все это?» — то опасность, оказывается, уже миновала».

«Древняя сельская церковь на севере. Яркий закат в оконцах. И дух в виде голубином под куполом. За длинными, узкими, сколоченными из прогнутых плах столами — бойцы, командиры, политработники дивизии. Вручаются боевые ордена. Затем речь

комиссара. И траурный марш памяти погибших в боях за Тихвин друзей, товарищей. И крупные, в горошину слезы на обветренных щеках поседевшего, выдавшего виды командира соединения».

Все эти записи сделаны, очевидно, во время поездки к воинам-сибирякам на Ленинградский фронт.

А каким чутким был Иван Петрович к живому, сочному разговорному языку! В «Записную книжку» вложены относящиеся, видимо, к тому же времени листки, озаглавленные: «Родная речь», куда он занес для пополнения своей писательской копилки слышанные от земляков колоритные выражения:

«Пред. Пресновского стансовета Савинков говорил по телефону предколхоза Мальцеву:

— Был вчера на базе. Поглядел, как городят денник. По-отбывательски работают».

«В сейкасный момент у нас корма на исходе — под нуль! — предколхоза».

«Лизавета Иванова:

— Уполномоченный ушел, и ключ в воду!»

«Шофер Подкорытов:

— Документальная жизнь, хотя я и из небогатого быта!»

«Сходбишша у их была за садом».

«— Где лисьим шажком, а где и волчьим броском!»

...Впрочем, не слишком ли я увлекаюсь цитированием отцовских заметок? Но, с другой стороны, они — не праздные писания, в них — отпечаток его мироощущения, мыслей и чувствований, всего того, что сам он называл тайной работой души. Вполне возможно, он делал наброски впрок, думая впоследствии к ним вернуться, да и наверняка вернулся бы, будь ему суждено продолжить начатый автобиографический цикл. Так или иначе,

отцовские заметки остаются как своего рода молчаливые свидетельства, знаки его писательского и человеческого «я».

Вряд ли назовешь отца скрытным, но в то же время он очень редко говорил о своих душевных состояниях. Он с иронией относился к нытикам, не терпел упадочнических разговоров и, обладая большим запасом жизнелюбия, духовной энергии, бывал в основном настроен оптимистически. Обычно, испытав очередной выпад изменчивой фортуны, он поначалу бурно негодовал, но столь же быстро охлаждался и не муссировал неприятных для него моментов. Но считать, что все проходило для него легко и бесследно, было бы, наверное, слишком наивно.

В последнее время все сильнее давало о себе знать физическое недомогание, о котором он не говорил ни слова, однако, и не замечать его вовсе тоже, конечно, не мог. А позади — путь немалый: семьдесят прожитых лет. И — книги, книги... Ни одна из них не обделена читательским вниманием, в том числе и последняя... Все это так, все — верно. Но верно и другое: по его мнению, не было среди них книги главной, основной, заветной, к какой всю жизнь стремился и какую, считал он, просто обязан был написать. Вечная неудовлетворенность настоящего художника!..

Вот почему снова и снова с волнением перечитываю те, давние, и особенно — поздние, последних лет, сделанные отцом на случайно подвернувшихся под руку листках записи, и они представляются мне совсем не случайными — исполненными глубокого, потаенного смысла.

Да, собственно, есть и прямое подтверждение их неслучайности: все эти листки были собраны в одном «фирменном» просторовском конверте с оригина-

нальной эмблемой журнала — солнышком — в правом верхнем углу. На этом конверте Иван Петрович написал: «Пресновские страницы. Заметки. Май — июнь — июль. Больница — санаторий». Было это в том самом 72-м году, когда обострение пневмонии на целых три месяца вывело его из привычной жизненной колеи. К тому времени он уже закончил первую автобиографическую повесть и устремился своими помыслами к следующей, неотступно думал о ней, что называется, жил ею. А значит, то, что заносил он на бумагу в те дни и недели, чем-то взволновало его, оказалось созвучным его тогдашним раздумьям, настроениям, могло пригодиться для воплощения творческих замыслов. Отчасти записи эти представляют собой наметки плана, которые, очевидно, Иван Петрович хотел реализовать в очередных повестях: «Пришел к истоку своей жизни, своей биографии — Питерово. (Где комсомольский (райкомовский) наш архив 1921 года? И вообще — где архивы (Пресновские 21 года?). «Поэзия забытых больших дорог». «Грозно горело в черном небе созвездие». «Терзай (кличка собаки — *Ил. Ш.*) ушел на поиски целебной травы — лечиться». «Гроза — кони в запряжке падали на колени». «Всегда меня пленяла непогода: Дождь (осенний). Вьюги. Ветры». И еще одна — самая развернутая запись: «Молодежь — современная — может и не знать о культуре, сложившейся в 30-е годы, — о патефонах, тяжелых и ломких пластинках... (Столешников переулоч, I-й съезд писателей. Мы в очереди за патефонами, — я за В. Шишковым)».

Замысел разветвлялся, уходя вширь и вглубь.

...Чем ближе к окончанию мои заметки, тем чаще вынужден я повторять одно и то же печальное слово. Последнее письмо. Последняя встре-

ча. Последний разговор... И каждое из подобных событий — также по известным законам восприятия — запечатлевалось в памяти особенно четко, до мельчайших подробностей.

В этом ряду памятно мне и выступление Ивана Петровича с общественной трибуны в апреле 76-го года. Оно привлекло к себе большое внимание, тем более, что отец выступал перед слушателями крайне редко.

Было это на объединенном пленуме творческих союзов Казахстана. Речь здесь шла о гражданском долге, ответственности литераторов, деятелей искусства республики перед народом. Отец был по годам, пожалуй, самым старшим из ораторов, но речь его отличалась взволнованностью, свежестью, внутренней экспрессией. В зале было много молодежи, и убежденное, озабоченное слово писателя старшего поколения могло быть воспринято ею как своеобразный завет.

О чем же говорил тогда Иван Петрович? О книгах Шолохова, Гладкова, Паустовского, Эренбурга, Мариэтты Шагинян и других, «вошедших в алмазный фонд отечественной литературы. Это — «Поднятая целина», «Разбег», «Люди из захолустья», «Цемент», «Танкер «Дербент», «Кара-Бугаз», «День второй», «Гидроцентральный». О том, что эти вещи были написаны авторами по горячим следам великих свершений, вопреки всяким теориям о так называемой дистанции времени.

«Припоминая эти имена и эти обогатившие нашу литературу произведения — художественную летопись времени, — подчеркивал Иван Петрович, — я хотел, чтобы нынешнее молодое поколение наших литераторов, по примеру своих старших братьев, не забывало о главном стимуле творческого горе-

ния — связи с жизнью, с людьми труда. Только такие непосредственные контакты художника с окружающей действительностью порождают благородное, чистое искусство сопричастности к знаменательным делам и событиям в жизни нашего государства.

Л. И. Брежнев в речи, произнесенной при закрытии XXV съезда КПСС, назвал годы минувшей девятой пятилетки — «своеобразной документальной повестью». Не прямой ли долг мастеров культуры перед нашим народом, перед советским обществом, перед партией — превратить такую документальную повесть в высокохудожественные произведения, произведения с запасом прочности, рассчитанной на жизнь наших потомков, современников будущего коммунистического общества».

Дальше Иван Петрович коснулся глубоко волновавшего его вопроса — о партийной и гражданской этике художника, о необходимости оценивать художественные творения строгой горьковской меркой, помнить о золотых горьковских традициях.

...Год 1977-й — а в жизни Ивана Петровича — семьдесят первый — начался довольно сумбурно, с неожиданных, будоражащих событий: присуждения премии, скоропалительной поездки в Москву...

Наступил апрель. Отец, как всегда, вставал рано, и я по дороге на работу порой забежал к нему на минутку — занести утренние газеты, наскоро перекинуться словечком. Выглядел он для его возраста по-прежнему хорошо, на здоровье, по привычке, не жаловался. И разговоры мы вели обычные, повседневные, о том о сем, и вечные будничные заботы не позволяли задержаться и поговорить подольше. Да и разве могло мне прийти в голову, что время наших встреч уже сочтено...

Да, внешне как будто ничего не предвещало внезапного скорбного конца.

Тогда, скажем, я не придавал значения такой детали: вернувшись из Москвы, Иван Петрович стал вдруг как-то особенно ревностно относиться к тому, что читал мой старший сын — школьник. Ему хотелось, чтобы тот прочел сказку С. Т. Аксакова — писателя, которого, по собственным его словам, он открыл для себя и полюбил уже в зрелые годы. Он сам положил сказку Андрею на столик и украдкой следил, чтобы тот не откладывал ее ради какого-нибудь, проглатываемого им с непостижимой быстротой, занимательного приключенческого чтива.

Потом, что и вовсе уж удивительно, предложил сыну прочитать повесть о детстве из своих «Пресновских страниц». Меня же, сколько помню, он ни разу не просил о чем-либо подобном, и когда однажды, прочитав «Горькую линию», я стал передавать свои впечатления, он принял это не то чтобы совсем безразлично, но как-то спокойно и легко перенес разговор совсем на другое.

А тут вдруг — такой поворот. Ему потребовалось, чтобы мальчишка сейчас, во что бы то ни стало узнал о его, Ивана, деревенском детстве, отчем доме, родителях, словом, — о самом заветном, кровном, изначальном. Вот так же когда-то старательно следил он, чтобы я, третьеклассник, не ленясь, записал впечатления о летней поездке в свой московский дневник...

Что еще?.. Светлым солнечным полднем посидели мы немного вдвоем на скамейке в сквере у Дома писателей; тогда я и подарил ту самую книгу стихов о природе. Говорили совсем мало: дышалось ему с трудом.

В середине апреля внезапно тяжело заболел родственник моей жены. С каждым часом ему ста-

повилось все хуже, и двадцать четвертого на рассвете он умер.

Нелегко было смириться с этим: человек в возрасте, но еще не старый, он буквально за день до болезни работал с полной нагрузкой — читал лекции по геодезии в институте, которому посвятил всю свою до краев заполненную трудом жизнь.

Тихим ясным утром двадцать шестого мы собрались перед похоронами в маленьком домике на окраине города. Вскоре подъехал и отец. Покойного Евгения Петровича он знал около пятнадцати лет. Встречались они изредка, в основном по праздникам, в домашнем кругу. Но в эти редкие часы Евгений Петрович сбрасывал с себя груз академических забот и, по характеру довольно замкнутый, на время преображался, любил побалагурить, и пошутить, и попеть. Отец его уважал, называл «мировым мужиком», а это в его устах всегда звучало едва ли не высшей похвалой.

Войдя в тесную, заполненную людьми комнату, Иван Петрович с минуту постоял у гроба. Потом мы вместе вышли в проулок. Отец молчал, только коротко, глухо покашливал, что, как я давно заметил, служило у него признаком глубокого смутения. Так же молча вернулись и присели в саду у дома на вынесенные кем-то табуретки. Припекало, на солнце поблескивали молодые, только что распустившиеся листья вишен. Мелькали над кустами бабочки. Гудели шмели. Словом, все вокруг заявляло о жизни, возрождении, и душа противилась тоскливым, безрадостным думам.

Такое ощущение, во всяком случае, испытывал я. А что чувствовал, о чем размышлял отец? Как знать... Мы стали неспешно разговаривать, но только не о самом событии, которое свело нас в ту горестную минуту, а о чем-то малозначительном.

Вскоре к нам подошла вдова, и он сказал ей: «Ну, я сейчас пойду, а дня через три обязательно к вам приеду».

Я проводил отца до такси.

Через три дня его не стало...

* * *

...«После смерти писателя вещи его обретают иную значимость, а образы — иной блеск и иную глубину мысли»... А все же не проходит горькое чувство, когда думаешь, что вот мог бы, но не поинтересовался, не расспросил отца и о том, и об этом — творческих замыслах, публикациях, начатых и незавершенных книгах, о перипетиях непростого жизненного и литературного пути, встречах с большими, легендарными людьми...

Похоже размышлял герой бунинской «Жизни Арсеньева»: «Когда вспоминаю отца, всегда чувствую раскаяние — все кажется, что недостаточно ценил и любил его. Всякий раз чувствую вину, что слишком мало знаю его жизнь, особенно молодость, — слишком мало заботился узнавать ее, когда можно было! И все стараюсь и не могу понять полностью, что он был за человек, — человек... удивительный какой-то... совершенно чудесной в своей легкости и разнообразности талантливостью всей своей натуры, живого сердца и быстрого ума., соединявший в себе редкую душевную прямоthu и душевную сокровенность, наружную простоту характера и внутреннюю сложность его...» (И. А. Бунин. Собр. соч. в 9 томах, т. 6-й, с. 153).

Умолк живой голос Ивана Петровича, но — говорят его друзья, его письма и другие материалы писательского архива, его произведения, известные и те, что по ведомым только самому их творцу при-

чинам, так и не успели выйти к широкому читателю.

Подобное произошло и с «Сибирской колыбельной», которую отец в том самом давнем письме, где говорилось, что если бы не роман, он давно уехал в армию, обещал прислать нам из Пресновки. Роман «Метель», для которого писалась «Колыбельная», завершён не был. Насчёт песни же отец обещание выполнил, но узнал я об этом опять-таки недавно, разбирая писательский архив. Здесь и обнаружилась отпечатанная на машинке на обеих сторонах листа «Сибирская колыбельная» с посвящением: «Сыну Илье». Кто знает, публикуй отец поэтические творения в печати, может быть, в своё время вспомнил бы и об этом. Но известно — стихов своих он почти не печатал, хотя, по единодушному мнению тех, кому посчастливилось открыть их для себя, они, безусловно, заслуживают признания. Скажем, одно из лирических стихотворений 40-го года «Ветреная! Косы, как жгуты...» впервые было опубликовано лишь спустя двадцать лет после написания — в критико-биографической книге К. Куровой «Иван Шухов» (Алма-Ата, 1960, стр. 7).

Долг перед памятью писателя обязывает довести его создания до современников в наиболее полном объёме, не дав затеряться строкам, согретым теплом его души и таланта. С думой об этом и привожу «Сибирскую колыбельную», написанную в дни суровых битв с фашизмом за свободу и независимость нашей Родины.

Спи, мальчишка. Не робей
Ни чертей и ни зверей.
Ничего на белом свете
Не боимся мы с тобой.
Мы с тобой казачьи дети,
А казачьи дети — бой!
Мы — варнак на варнаке:
Нам ни пить, ни есть не надо,

Только б драться день и ночь;
Черти станут нам не рады,
Разбегутся звери прочь.
Спи, товарищ дорогой.
Спозаранку — снова в бой:
Разгромим нечисту силу,
Схватим черта за рога!
Доконшаем — нам под силу —
Мы коварного врага!
Спи, мальчишка. Не зевай.
Зря глаза не продавай.
Мы с тобой казачьи дети,
Востры нам нужны глаза:
Пусть в них молния засветит,
Коль в бровях гудит гроза!
Засыпай. Не озоруй.
Сны у детства не воруй.
Мы с тобой казачьи дети
Да еще — сибиряки!
Подрастем и вдруг заметим, —
Взрослым дрёма не с руки!
А пока дремли, не балуй,
Если спать пришел черед,
Если даже дед бывалый
По колено в снах бредет.
Если все степные звери
Позакрыли в норах двери —
В норах сумрак и покой;
Если даже все зверята
Спят, как малые ребята,
Под родительской рукой.
Спи и ты, варнак отпетый, —
Как в Сибири говорят, —
Казачков с одной приметой
Наши матери родят:
Если нос слегка курносый
И веснушки не густы,
Если чуб густоволосый
И не брови, а — кусты, —
Значит, ладная работа,
Из такого выйдет толк;
Он врагов уложит роту,
А не роту — целый полк!
Есть в тебе приметы эти.
Я их знаю наизусть.

Мы с тобой — казачьи дети,
Наша мать — родная Русь.
Вот и вся тебе прибаска —
Полупесня, полусказка —
Без затей и без прикрас.
У тебя дрожат ресницы,
Сновиденья, как синицы,
Замелькали мимо глаз.
Спи, мальчишка. Я молчу.
Я ведь тоже спать хочу!..

*ст. Пресновская
январь, 44 г.*

История упомянутого ранее стихотворения «Ветреная! Косы, как жгуты...» также любопытна. К. Курова, отметив в шуховских строках несомненное воздействие поэзии П. Васильева, отнесла написание вещи к концу двадцатых — началу тридцатых годов — времени расцвета васильевского творчества. Однако найденная недавно машинописная копия этого, как оказалось, большого стихотворения (в книге напечатана только его часть) указывает точную дату создания — 40-й год. Озаглавлено стихотворение «Маша». Ивану Петровичу, судя по всему, оно очень нравилось. Писатель Николай Почивалин, встречавшийся с Шуховым в пятидесятых годах в Омске, вспоминает: «Иван Петрович однажды, под наитие, признался, что сам пишет стихи; смешно, по-мальчишески засопев, начал читать: «Маша!..» — и махнул рукой. Что было с этой Машей, кто она такая и почему попала в непрочитанные стихи, я так никогда и не узнал». («Телеграмма». В книге «Воспоминания об Иване Шухове». Алма-Ата, 1979, с. 71).

По настроению, стилю и лексике стихотворение «Маша» созвучно знаменитой васильевской «Анастасии».

Можно считать лирических героинь обоих стихотворений своего рода поэтическими сестрами, хотя авторская позиция по отношению к ним не одинакова: у Шухова нет того мотива осуждения героини, который звучит в «Анастасии». Естественно: интервал между стихами — почти двадцать лет, да и поэтические задачи решались в них разные.

В статье «Служение литературе» П. Косенко подчеркивает, что поэзию Васильева Иван Петрович не то что любил — она являлась частью его жизни. Он был для Шухова не только любимым поэтом, но, прежде всего, — родным. Мало кому известно, что Шухов и Васильев были женаты на сестрах Анучиных — Елене и Галине. Елена Анучина вместе с Иваном Петровичем в конце двадцатых годов входила в актив Омского филиала Всероссийской ассоциации пролетарских писателей (ВАПП). А сестре ее Гале, тоже жившей в Омске, Павел Васильев посвятил в 1930 году стихотворение «Так мы идем с тобой и балагурим...»

Как память о Павле Васильеве отец до последнего своего дня хранил его единственную прижизненную поэтическую книгу «Соляной бунт», изданную в 1934 году в Москве тиражом три тысячи экземпляров. Книга — без дарственной надписи, но вполне могло быть, что ее подарил отцу сам автор. Ниже заглавия поэмы значилось: «Посвящаю Елене Усневич». Поэму эту Иван Петрович любил и, очевидно, неоднократно перечитывал — в книге тут и там встречаются его пометки чернилами и карандашом. Есть и поправки: на 66-й странице в главе «Сражение у Шапёра» прошла искажающая смысл опечатка:

Сабли сменялись, — знали они,
Что сегодня —
Их именины.

В слове «сменялись» отец зачеркнул ошибочно напечатанную лишнюю букву «н»: «смеялись». По-тому Иван Петрович знал великолепно, отрывки из нее, по свидетельствам современников, ему посчастливилось слышать в чтении самого Павла Васильева.

Одним из участников литературного кружка в Омске был и В. Е. Квитко. Человек почтенного возраста, Василий Ефимович недавно прислал из города Кургана, где он теперь живет, в Комиссию по литературному наследию И. П. Шухова ряд интереснейших, уникальных материалов, связанных с началом литературного пути Ивана Петровича. По свидетельству Квитко, Шухов, один из инициаторов литературного кружка молодежи, часто выступал с чтением своих стихов на студенческих вечерах, активно участвовал в обсуждении произведений членов филиала. По возрасту он был самым молодым из кружковцев, но именно его вместе с А. Трусовым в 1925 году делегировали в Москву на пленум правления ВАПП.

«Кружковцы считали Шухова одаренным, талантливым мастером художественного слова и верили в его большое будущее,— пишет В. Е. Квитко.— Эта вера оказалась прорицательной. Для меня лично Ваня Шухов был близким другом. Я восхищался умными, ласковыми, музыкальными стихами Шухова. В кружке Шухов вдохновлял на творчество молодых литераторов. Проникновенность его стихов, умение схватить самое важное в настроениях и поведении современной молодежи обусловили постоянный интерес к выступлениям Шухова».

Но ранние, «юнкоровские» стихи Шухова были не только «ласковыми и музыкальными». Он прямо откликался в них и на актуальные задачи дня, и газеты помещали их, как ударный материал, на от-

крытии номера, рядом с призывами, обращениями и передовыми статьями. Так, в одном из газетных номеров печаталось обращение Российского коммунистического союза молодежи «К молодым рабочим и батракам», а над ним было помещено стихотворение Ивана Шухова «В комсомол!» Привожу из него отрывок:

Кто б ты ни был:
Рабочий, подросток, батрак,
Все равно наш зов всем:
— Шаг не назад,
А вперед, в ряды
РКСМ.

Среди ранних поэтических произведений Ивана Петровича примечательно и «Письмо в редакцию», опубликованное 3 декабря 1927 года в омской областной газете «Рабочий путь» с посвящением участникам литературного кружка Е. Забелину, В. Грязнову и Н. Беззубику.

После первой публикации оно не появлялось в печати и, думается, стоит привести его хотя бы частично:

Товарищ редактор,
Я продал стихи.
Заложив за спину руки,
Хожу по ночам,
Где бульвары тихи,
Где гложут ветра от скуки.
Зима зацвела
По всем мостовым.
По камням
Граненым и серым.
Мы рады зиме,
Но холодно постовым
Товарищам
милиционерам.
К поэтам профессия их
Близка
По трудности и по оплате.

Нам все еще ставка пока
Низка —
Четыре с полтиной
В квадрате.
А стая поэтов,
Воспев закат,
Поет про луну и месяц,
Зажав на штанах
Цветы заплат
И длинные кудри развесив,
Товарищ редактор!
Ну, как же быть?
Поэты — народ неловкий.
Они продолжают
На месяц выть,
Когда начинаются хлебозаготовки.

Через несколько дней после первой публикации, 8 декабря 1927 года, в «Рабочем пути» была помещена статья Ник. Смагина «Три года», где, в частности, отмечалось: «Ив. Шухов отошел от деревенской лирики и перестал увлекаться Есениным. Его последние стихи резко отличаются от прежде печатавшихся. Поэма «Письмо в редакцию» — это выстраданный отказ от лирики в пользу тем о хлебозаготовках и горсовете».

Немногим более года спустя в печати появилось новое стихотворение Ивана Шухова — «Песня о джуте, красной звезде и большом джигите» (журнал «Рост», книга первая, Свердловск, 1929 г., с. 9—11). Позже его поместил и журнал «На досуге» (1930 г., № 2, с. 9) под названием «Песня о джуте и великом джигите». Первая публикация не сопровождалась комментариями, за исключением объяснения слов «той», «джут» и «бай». А в журнале «На досуге» давались маленькое предисловие и сноска: «Стихотворение записано в одном из аулов Казахстана». В предисловии отмечалось, что революция и роль в ней В. И. Ленина

как вождя ярко отразились в народном творчестве. «В данном случае казахи (население автономной Казахской республики) воспевают Ленина как великого джигита (наездника). А самый процесс революции воспринимается неизвестным казахским поэтом как природное явление, благодаря которому навеки уничтожено все старое, сравниваемое им со страшным бедствием степных кочевников джутом (гололедицей), при котором кочевники теряли почти весь свой скот, питающийся на подножном корму».

Пометка о том, что стихотворение записано в одном из аулов Казахстана, очень примечательна. Она еще раз подчеркивает мастерство Шухова-стилиста, искусно введившего в художественную ткань своих произведений сказания и легенды народов нашей Родины. Как известно, впоследствии это мастерство в полной мере проявилось в романе «Горькая линия», других романах и повестях И. П. Шухова.

Об особенностях «Песни о джуте...» может дать представление хотя бы такой отрывок:

А великий джигит умолк...
Но пылает его звезда.
Там, где раньше скитался волк,
По степям летят поезда.
Там, где раньше качал ковыль
Одиноких гонцов,— теперь
Запылала новая быль.
И в табун не приходит зверь.
Там во все времена луны
Одинаковый птичий лет.
Там железных птиц табуны
Сторожат владенья страны,
Чтобы джут на поля не лег.
Там прогнали из рода мулл,
Оседлали железных птиц.
Свежий ветер оттуда дул
И ложился у наших границ...

— Нет, — сказал джигит молодой, —
Свежий ветер дошел до нас.
Оттого-то устроили той
Мы за песню твою и рассказ.

В общем, знакомство со стихами Ивана Петровича разных лет, мне кажется, дает основание заключить, что он рассматривал их серьезнее, чем просто поэтические опыты. Хотя, по свидетельству близко знавших его литераторов, Шухов больше ценил прозу. Так, Андрей Алдан-Семенов вспоминает, что Шухов в ранние годы творчества смотрел на стихотворство как на своеобразную разминку («Я пишу стихи, чтобы научиться писать прозу. Тренируюсь, как спортсмен»). А Михаил Величко пишет, что в молодости, когда они с Шуховым размышляли о литературе, Иван Петрович однажды сказал: «Мне кажется, проза ближе к жизни. Поэзия — это эфир, а проза — гранит...» («Воспоминания...» с. 160). Но сам факт, что на протяжении десятилетий Иван Петрович время от времени обращался к стихам и уже в зрелые годы создал самое значительное поэтическое произведение «Моя поэма», говорит сам за себя. Первоначально главы из поэмы под названием «Тридцатые годы» появились в газете «Казахстанская правда» 27 октября 1968 года и вызвали широкий читательский резонанс. В числе откликов на эту публикацию отец получил 29 октября 1968 года письмо Ильяс Омарова, известного писателя-публициста, критика, министра культуры Казахской ССР.

«Дорогой Иван Петрович! — писал И. Омаров. — Бывают в природе драгоценные камни, которые светятся по-разному, если смотреть на них с разных сторон.

Люди — тоже дети природы.

Вот сегодня давно знакомый прозаик Иван Шу-

хоть обернулся Шуховым-поэтом! И каким поэтом!
Когда лежишь в больнице и один, разные мысли
одолевают человека. Как бы сам собой подытожи-
вается пройденный путь. Как было туго нашему по-
колению, как мы несли свой крест и одолели неодо-
лимое. Отрывок Вашей поэмы ценен для нас как
воспоминание и гордость и как напоминание тем,
которые забывают часто то, чего сами не пережили.
Реквием Ваш относится и к мертвым, и к живым!

Он — как ода великой битве,
Отшумевшей в степном краю,
Как бессмертию Гимн,
Как Молитву,
Я его нараспев пою!

По сердечному повеленью,
По порыву крылатых душ —
С лету цепкое мое поколенье
Мертвой хваткой бралось за гуж.

Ибо:

Непосильную подчас ношу
Жизнь валила на плечи нам.
Но ни слова в упрек не брошу
Тем — в легенду ушедшим
Годам!
Дети, верные грозному веку,
Его воле и правоте,
Открывали мы Человека
И в джатаке, и в батраке.

Да, так было! Мы привыкли ко всему этому, и
матушка-привычка съедает иногда громаду разво-
роченных дел. Пора нам бить в набат, можно гор-
диться содеянным. На это мы имеет право даже по
жестоким меркам истории... Но не всякому удастся
писать так, как Шухову. Поэтому хочется Вас упол-
номочить бить в колокол эпохи...

...Спасибо Вам за звонкие стихи. Я всегда радуюсь, когда Вы «раздуваете свои творческие мехи».

С уважением

Ильяс Омаров.

29.X.1968 г.»

Впоследствии «Моя поэма» вошла в книги «Родина и чужбина», «Пресновские страницы» и привлекла внимание многих литературоведов, критиков. Высокую оценку дали ей поэты и прозаики. «Моя поэма», несомненно, была событием в литературе и открытием не для меня одной, — она не только открыла Шухова с какой-то доселе не известной читателям стороны, но и вписалась новой и неожиданной прекрасной страницей в историю советской поэзии...» — так отзывалась поэтесса Руфь Тамарина в статье «Страницы шуховской поэзии» («Воспоминания...», стр. 350).

А писательница Галина Черноголовина тонко заметила, что в строках этой поэтической вещи прорастали названия будущих автобиографических повестей Шухова — «Колокол», «Отмерцавшие марева», «Трава в чистом поле»...

* * *

Истоки творчества...

Рассказы Шухова появились в московских журналах еще в середине двадцатых годов. Он тогда учился в Омске на рабфаке. Примечательно, что именно шуховским рассказом «За Альховской» открывался один из номеров «Журнала крестьянской молодежи» за 1925 год (№ 19). Журнал этот, созданный по совету и при участии Михаила Ивановича Калинина, как и другие подобные издания, должен был освещать жизнь послереволюционной, со-

петской деревни, выявлять литературные таланты из среды сельских жителей, помогать их творческому становлению и росту. Выходил журнал — «орган ЦК и МК РЛКСМ» — два раза в месяц.

Подобную задачу решал и «Крестьянский журнал» — литературно-художественный ежемесячник, в котором печатались произведения тогда еще только начинавших творческий путь писателей — Михаила Шолохова, Михаила Исаковского, Федора Панферова, Степана Щипачева, Федора Каманина... Публикации на страницах этих двух изданий и считал Иван Петрович своим литературным дебютом.

О ранних рассказах Шухова в критике говорилось мало, а между тем интересно проследить, как начинал вырабатываться его своеобразный писательский «почерк», всего лишь несколькими годами позже столь ярко проявившийся в первых эпических полотнах — «Горькой линии» и «Ненависти».

В ранней прозе Шухова, как и в стихах, сразу же определилась его основная тема, «генеральная дума», по выражению А. Твардовского. Тема эта — деревня, сельская жизнь, непростой процесс перестройки ее на новый, послереволюционный лад. Примечательно, что первые рассказы и стихи «рабфаковца Ив. Шухова» близко перекликались между собой, строились из одного и того же словесного материала.

В 1925 году в однодневной омской газете «Студенческая» было напечатано стихотворение Шухова «На рабфак»:

Говорила мать-старушка:

«Глазюньки

Выплачу я, дочка, по тебе,
Не ходи за ним, не волочися,
Будешь непоседой, вот как он...
Ну-ка прясть получше научися,
Не ходи...

Не славный снился сон».
Жалко маму,
И тебя мне жалко,
И рабфак невиданный, родной.
И закрывшись ситцевым подшалком,
Ты шепнула:
— Все ж уйду с тобой...

И мать-старушка, обескураженная уходом родного дитя из деревни в «невиданный далекий город с рабфаковцами», и комсомолка-новичок, и подшалак, и «кудрлатые мазанки» — все это вошло также в повествовательную ткань рассказов «За Альховской», «Ломь» и «Перекрестки дорог». «Ломь» печатался в «Журнале крестьянской молодежи» (1926 год, № 2), а «Перекрестки дорог» в «Крестьянском журнале» (1927 год, № 5).

Во всех трех рассказах — атмосфера мятежности, тревоги. Действие развивается стремительно, приводя к драматическому разрешению конфликта.

О чем же рассказы?

О новой, всколыхнутой революцией деревне, о трудной ломке кондового, веками устоявшегося быта, человеческих отношений негоже было писать по-старому. Тут требовался особый стиль — резкий, лаконичный, способный передать всю силу владеющих героями чувств и эмоций. Отсюда — особенности языка рассказов: краткие, часто из одного слова, рубленные фразы, широкое использование приема инверсии.

Простой паренек Федька, секретарь сельской комсомольской ячейки, «укомолом утвержденный» («За Альховской»), выполняя задание штаба Н-ской дивизии красных, «попал в лапы белых собак» — белогвардейцев. По приказу белого генерала его должны расстрелять. Ночью в землянку, где томился Федька, удалось пробраться его товарищам по ячейке — Пашке и Насте. Они стали уговаривать

его бежать с ними к своим. Федор знал, что жить ему осталось только до рассвета, но не ушел, озабоченный в первую очередь тем, чтобы к красным скорее попал пакет с добытыми им военными сведениями.

«Всхлипывала Настя сдержанно.

Оборвал Федька:

— Будя. Во пакет — в часть его к свету. Кто из вас?

— Обои,— отрезали в один голос.

— К начальнику штаба. И ему, а не кому другому. Наступают пусть из-за Маховинских редников. Ну, кройте поскорее!»

Получив сведения, красные ранним утром без боя взяли Альяховское.

А вот генерала не нашли. Не было и Федьки, и часовых. Рванулись в лог. Встретили двух казаков.

«Где генерал?

— Внизу.

Спустились.

На Федьку наткнулись. На груди кровь заеклась. Припал ухом Пашка — не дышит.

Зарыдал по-ребячьи.

Поодаль, истыканный штыками, с головой разможенной, распластался генерал.

— Как было дело?

Казак пояснил:

— Привели мы этого парнишку по приказу генеральскому. В расход велел, ну и думаем,— за что в расход? За народ он... порешили в леса удрать вместе. Двинулись логом. А он тут как тут. Завопил: «Куда, сволочи?» И из нагана в грудь парню. А мы в генерала бац, бац! Ранили. Свихнулся с седла. Поддели и давай. Усоборовали. А теперь к вам желаем. Не поверите — пристрелите!»

Близок по стилистике и второй рассказ «Ломь». Состоящий из четырех коротких главок, он как бы вырастает из стихотворения «На рабфак» и служит его своеобразным прозаическим продолжением.

Деревенская девушка Настя в отчаянии. Суровый, разъяренный отец бьет ее, с позором выгоняет из дома за то, что она, не спросясь согласия родителей, полюбила простого парня — комсомольца Мишу. Узнав об этом, парень говорит: «Дура... брось нюни-то распускать, не по-комсомольски так... На днях уедем в город, на рабфак устрою».

И они действительно ушли в «невиданный, далекий город с рабфаковцами». Долгое время спустя старик со старухой получили письмо от дочери. Она сообщала, что учится на рабоче-крестьянском факультете, соскучилась, обещала к весне побывать дома.

Появились молодожены в Беркове — родной деревне — в духов день, большой престольный праздник.

Вот как описывает его автор:

«Расцветают уродливые мазанки, в зелень врастают. Девки нарядами пестрят. Три дня сряду веселость буйная.

Самогон рекой.

Песни.

Драки. Бои кулачные...

Сегодня первый день.

У мельницы девки кадрили отдирают.

Пыль столбом».

Новость мгновенно разнеслась по деревне: «Настя приехала! Нафуфырена!»

Беглецы закрылись дома. «Настя баюкала ребенка. Миша ходил по избе, раскуривая папироску.

Вошел отец — помолчал с минуту, глухо спросил:

— Вы чево ж? По закону таперя али как?
Настя с улыбкой застенчивой буркнула:—
Да.

— С попом, стало быть?

— Зачем с попом? В загсе.

— А?

— Зарегистрировались, и все, зачем попа?

Мать вздохнула. Отец вскипел:

— Так и знал. Нутром чуял. Да рази ты мне дочь теперя, ух...

Миша ухватил за руку.

— Не тронь, к чему? Было время — били, а теперь...

— Не гуди!

Вышел, шибко хлопнув скрипучею дверью.

Мать искоса поглядела на угрюмую Настю. Думала: «Похорошела моя ягодка. И к чему он заводит эту баталию? Какое наше дело стариковское». Хотелось броситься, приласкать бедную дочку. Да суровый взгляд старика из памяти выплывал, глаза резал: «Прибьет».

Те, кто хорошо знаком с творчеством И. П. Шухова, очевидно, отметят, что в этом рассказе, резко отличном по строению фраз и художественно-выразительным средствам от его известных эпических полотен, в то же время явственно обнаруживаются и какие-то сходные черты. Так, сценка с любопытствующими деревенскими девицами у дома Насти выглядит как своего рода беглый набросок, эскиз к тщательно выписанной впоследствии красочной картине свадьбы в доме Немировых из романа «Горькая линия».

Как видим, и этот маленький, не замеченный критикой рассказ сыграл свою роль в становлении литературного мастерства в ту пору совсем еще молодого писателя.

Историю публикации третьего рассказа — «Перекрестки дорог» воскрешает бывший секретарь редакции «Крестьянского журнала» Михаил Арсеньевич Величко. Его большая статья «Щедрое сердце», также вошедшая в книгу воспоминаний, насыщена интереснейшими фактами и подробностями, связанными с началом работы Шухова в литературе.

«Перекрестки дорог» М. Величко обнаружил в 1927 году среди полученной журналом очередной кипы рукописей. Рассказ обрадовал его необычной свежестью, богатой образностью языка. Внизу стояла подпись: Ив. Шухов. В короткой записке, сопровождавшей рукопись, автор ничего не сообщал о себе, лишь просил «напечатать, если подойдет».

В тот же день М. Величко еще раз внимательно прочитал «Перекрестки дорог».

...В широкой степи затерялся маленький хутор, всего из трех одинаковых изб, в которых «жили три неодинаковых семьи». В крайней избе от кустов таловых старший — Никита Панкратыч Синюхин, в средней — Макар Ветряков, в третьей — Степка Малиновка с матерью. Весной «пробило Степке двенадцать лет, ровных и быстротекучих». Сгонял он в станицу за самогоном и вечером пригласил соседей на именины. В полночь гости захмелели. Степке тоже хмель ударил в виски. Он достал из материнского сундука тальянку и, как полагается гармонисту, перекинув ногу за ногу, играл «Самарскую барыню». «Никита Панкратыч сидел посреди грязного пола и, махая пухлыми кистями рук, хрипел:

Взойдет ли красно солнышко...

Голос его обрывал Макар Ветряков:

— Панкратыч, эх и живем мы... Народ бает, скушно живем».

А осенью, когда кончили молотить пшеницу, Степка увиделся в условленном месте со своей любимой Соней, соседской дочерью, и стал уговаривать ее отправиться вместе с ним в дальнюю дорогу, о которой они мечтали. Соня не решилась на этот шаг, и Степка ушел один, наказав никому не открывать тайну.

Обнаружив исчезновение парня, Никита Панкратыч потребовал ответа у дочери, но она, помня уговор, ничего не сказала. Пришла зима. А у Феклы, матери Степкиной, с тех пор как он ушел, ворота были настежь растворены. Убивалась Фекла от тоски, и было ее «лицо полотняное цвета чернозема».

Жалко стало Соне старуху, не выдержала она и, застав однажды ее за молитвой, сказала: «Степа ушел в Москву на ученье». И описала, как все произошло.

Фекле неведомо уже было оставаться одной, и она объявила девушке, что продаст в станице корову и уедет искать сына. Зима настала суровая, метельная. У нежилой, полузанесенной снегом Степкиной избы, вытягивая вперед острые морды, бродили волки.

Дни шли своей чередой, и «принес поток дней и недель с черными неугомонно-каркающими грачами за мартом — апрель, спаливший снежные города степей, станиц, хуторов и степных бекетов». И только тогда Степка, наконец, вернулся в опустевшую избу. О матери никто ничего не знал: должно быть, загрызли волки. Но даже и это великое горе не смогло поколебать стремление парня учиться. Вышли они с Соней на рассвете за околицу. «У старой, давно заброшенной мельницы остановились, и он сказал:

— Свет голубой. Дорога тоже голубая... Это от света.

Сонька не поняла и переспросила:

— Кака дорога?

— Дорога... та, по которой мы пойдем в сентябре в Москву».

М. Величко отправил автору письмо с положительным отзывом и просьбой сообщить редакции элементарные сведения о себе. Однако ответное послание пришло от Шухова лишь несколько месяцев спустя. Прося извинить за затяжное молчание, он сообщал, что не мог откликнуться раньше, потому что долго ездил по отдаленным сибирским селам, собирая материал для омовской газеты.

Рассказ увидел свет в пятом, майском номере «Крестьянского журнала» за 1927 год.

Всего год с небольшим разделял «Ломь» и «Перекрестки дорог», но в последнем рассказе отчетливо отразились поиски и находки автора, особенно в области архитектоники фразы. Здесь уже почти не встречаются лаконичные, рубленые предложения, фраза стала более развернутой, полнокровной, приобретая широту и многокрасочность, эпичность и лиризм, тот неповторимый колорит, которым отмечена проза романов «Горькая линия», «Ненависть», «Родина», «Действующая армия», поздних произведений писателя — повестей цикла «Пресновские страницы»...

Характерно и то, что в «Перекрестках дорог» автор впервые для себя вводит в текст слова народной песни. Видимо, она была ему с юности знакома и дорога, потому что нашла потом место и в одной из глав «Горькой линии», где «крепко обнявшись, вполголоса, мягко и стройно» поют ее Елизар Дыбин и Филарет Нашатырь:

Взойдет ли красно солнышко,
Кого под тень принять?
Ударит ли погодушка,
Кто будет защищать?

В 1928—1930 годах Иван Петрович много ездил по стране, жил в Омске, Свердловске и других городах, работая разъездным корреспондентом. К этому времени относятся его статьи и очерки, проникнутые пафосом социалистического переустройства жизни в разных краях нашей великой Родины. Три таких очерка — «Страна Советская. Крым», «Батрацкий штурм» и «Социалистический город» были в 1929 и 1930 годах напечатаны в журнале «На досуге». Они тоже сыграли определенную роль в писательском становлении Шухова. Это отмечал в статье «За высокое идейно-художественное качество» сам Иван Петрович: «К литературе пришел я от газеты. Работа в краевой печати Сибири и Урала... дала мне очень много в смысле тематического обогащения, в тренировке глаза и уха, в развитии наблюдательности, в подборе, сортировке и осмысливании фактов и в обобщении их.

Я давал материал исключительно очеркового порядка, и потому все свои полубеллетристические корреспонденции я рассматриваю как подготовительно-лабораторные опыты перед первой большой серьезной работой» (журнал «Рост», 1932, № 8, с. 10—11).

Такой работой был, как известно, роман «Горькая линия», вышедший в московском издательстве «Федерация». 23 августа 1931 года Иван Петрович отправил книгу А. М. Горькому вместе с письмом, текст которого был впервые опубликован лишь почти полвека спустя:

«Алексей Максимович!

Посылаю Вам первую свою книжку — «Горькая линия», — роман о классовой борьбе на Сибирской окраине. Это первый мой творческий опыт, получивший в печати пока положительную оценку («Лит. газета» от 10 августа и журнал «З. С.»¹ № 7).

Но конкретных указаний, которыми бы мог я воспользоваться в дальнейшей моей работе, над второй книгой этого романа, я не имею...

Сейчас вышла первая книжка «Горькой линии», в плане у меня — вторая. Я чувствую на себе большую ответственность и был бы несказанно рад, Алексей Максимович, если бы Вы уделили мне немножко своего чуткого внимания и сказали свое слово об этой работе...

Писать, я чувствую, с каждым днем становится все труднее, и Ваши советы принесли бы мне огромную радость, большую творческую зарядку.

Вскоре Шухов получил ответное письмо Горького:

«Вы написали очень хорошую книгу, это — неоспоримо. Читая «Горькую линию», получаешь впечатление, что автор — человек даровитый, к делу своему относится вполне серьезно, будучи казаком, находит в себе достаточно смелости и свободы для того, чтоб изображать казаков с беспощадной и правдивой суровостью, вполне заслуженной ими. Вам — 25 лет, пишете Вы о том, что видели, когда Вам было 12 и, разумеется, Вы не могли видеть всего, что изображается Вами. Но когда читаешь Вашу книгу — чувствуешь, что Вы — как будто — были непосредственным зрителем и участником всех событий, изображаемых Вами, что Вы — как бы —

¹ Журнал «Земля советская».

подслушали все мысли, поняли все чувствования всех Ваших героев. Вот это и есть подлинное, настоящее искусство, изображения жизни силою слова...»

Высокий отзыв окрылил Ивана Петровича. Он был, по-видимому, так взволнован, что решил сфотографироваться в честь такого события и потом подарил снимок самому близкому человеку с надписью «Сестре моей Паше Шуховой — в день получения письма от А. М. Горького, Москва, 31 г.». А небольшое фото самого Горького, как вспоминает Прасковья Петровна, отец наклеил на плотный картон и бережно хранил этот дорогой для него «талисман».

В дальнейшем Алексей Максимович внимательно следил за творческим ростом Шухова, всячески поддерживал его. Выступая на совещании редакторов политотдельских газет, Горький говорил: «...Я думаю, что кое-что вы могли бы дать и о некоторых наших литературных достижениях. Таких, например, как книга Шухова «Ненависть». О ней следует рассказать. Интересная книга. Или книга Шолохова, вероятно, вам всем известная,— и о ней напечатать толковую рецензию. Собрать целый ряд таких книг и объяснить, почему они интересны, почему их надо знать». (А. М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах, т. 27, с. 69). Произведения Шухова упоминаются и в других горьковских документах — «Открытом письме А. С. Серафимовичу», в письме литературоведу, критику, члену редколлегии журнала «Литературная учеба» Е. С. Добину, в речи на втором пленуме Правления Союза советских писателей 7 марта 1935 года.

Благодарный за эту отеческую заботу, Иван Петрович признавался: «Гениальный русский писатель А. М. Горький сыграл в моей литературной

судьбе, как в судьбе многих наших советских писателей, огромную, решающую роль, являясь нашим Великим Учителем, замечательным критиком и другом». («Литературный Казахстан», 1938, № 3, с. 73).

Раннее творчество И. П. Шухова — его стихи, рассказы, корреспонденции, очерки (кстати, очерковому жанру он оставался верен всегда) — все это, несомненно, станет еще предметом будущих литературоведческих исследований. Мне же хотелось здесь поделиться с читателями тем для себя новым, что удалось открыть в жизненной и писательской судьбе отца, обратиться к истокам его творчества, попытаться восполнить то, чего раньше узнать не довелось.

«После смерти писателя вещи его обретают иную значимость, а образы — иной блеск и иную глубину мысли...».

СОДЕРЖАНИЕ

Время открытий	3
Панорама казахского рассказа	47
Поэзия перевода	72
Литое, весомое слово	89
Земля родная — Казахстан	95
Как много в этом звуке	100
Степная родина	107
Солнцем согреты строки	111
Корни и крона	116
Доверчивость к добру	134
Хлеб и песня	138
Переключка побратимов	143
Книга о Шолохове	150
У истоков «Пресновских страниц»	159

Шухов Илья Иванович

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ

*Литературно-критические статьи,
исследования, заметки.*

Редактор *Н. Муханова*

Художник *Л. Тетенко*

Худож. редактор *Б. Машрапов*

Тех. редактор *С. Лепесова*

Корректор *С. Синицына*

ИБ 1341

Сдано в набор 02.06.80. Подписано к печати 08.10.80. Формат 70×100¹/₃₂. Бум. тип. № 1. Литературная гарнитура. Печать высокая. Печ. л. 9,0. Усл. п. л. 11,7. Уч.-изд. л. 12,1. Тираж 7000 экз. Заказ № 1837.
Цена 90 к.

Издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480046, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.
Полиграфкомбинат производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480002, г. Алма-Ата, ул. Пастера, 41.

